


~ ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН ~

Долгие беседы в ожидании счастливой смерти

"Это кропотливый, длительный и талантливый эксперимент по изучению истории человеческой души, ее страхов и мучительной борьбы с ними, история поражения и мужества и окончательного, возведенного самим героем, одиночества"

Дина Рубина



 ЕНИКС

~ ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН ~

Долгие беседы в ожидании счастливой смерти

Из дневников этих лет

Ростов-на-Дону

 **ФЕНИКС**

2020

УДК 82-94
ББК 84(7Сое)
КТК 682
Ц 32

Цейтлин, Евсей.

Ц32 Долгие беседы в ожидании счастливой смерти : из дневников этих лет / Евсей Цейтлин. — Ростов н/Д : Феникс, 2020. — 253 с.

ISBN 978-5-222-32684-8

«Сегодня произошло то, чего мой герой ждал несколько десятилетий. Его похоронили».

Эта книга пронизана тайнами... В Вильнюсе, который когда-то называли литовским Иерусалимом, встречаются два писателя. Старый и молодой. Старый, Йокубас Йосаде, тяжело болен и готовится к смерти. О чем их беседы, длящиеся пять лет? Это путь в лабиринте: медленное и странное погружение в глубины человеческого сознания, в судьбу еврея, который в течение десятилетий не просто многое тщательно скрывал от других — сам стремился многое забыть, навсегда вычеркнуть из памяти.

Книга была впервые издана почти четверть века назад, но о ней продолжают говорить и спорить в разных странах и на разных языках («Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» переведены на немецкий, английский, испанский, литовский, украинский).

УДК 82-94
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-222-32684-8

© Текст: Евсей Цейтлин, 2019
© Оформление: ООО «Феникс», 2019
© В оформлении обложки
использованы иллюстрации
по лицензии Shutterstock.com

Содержание

ДИНА РУБИНА. ЕДИНСТВЕННЫЙ СЮЖЕТ	7
«ДЕНЬ СМЕРТИ ЛУЧШЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ»	8
Необходимое объяснение с читателем	9
Интонация и жанр	11
СЮЖЕТЫ ПРОЩАНИЯ. Тетрадь первая	14
Лабиринт	14
Символ	15
Опыт самопознания	16
Пометка для читателя	18
Театр... театр?	19
«Ярый враг тайн»	24
Возвращение	30
Тень Фрейда	33
Фрагменты жизни	36
Нить страха	37
Сны	40
Приговор	40
Начало	43
Между прочим	44

Фрагменты жизни	45
Вариации на тему Витенберга	46
Еще одно объяснение с читателем	48
Вход в лабиринт	49
Несколько шагов в лабиринте	50
Бумеранг	52
Воспоминание о пепле	53
Сны	59
Голоса на развалинах	60
Лицо смерти	62
Счастливчик	66
Без названия	69
История одного замысла	71
Нужно уметь прощаться вовремя	76
Убийцы в белых халатах	78
Новеллы его жизни	85
«Наивный Перец Маркиш»	86
Теория бесконфликтности	88
Зеркало	91
ЖИЗНЬ ПРИ СВЕТЕ СМЕРТИ. Тетрадь вторая	97
О пользе некрологов	97
Подарок дочери	99
Фрагменты жизни	104
О природе молчания	105
...Перед захлопнутой дверью	110
Тайники	114
«Разве важно, на каком языке писать?»	116
Последний еврей	117
Человек и вещи	122
Человек и время	126
«Самое-самое»	130

Круг.	137
В поисках утраченной свободы (начало)	138
В поисках утраченной свободы (окончание)	141
Покровы тайны.	146
Лицо мужчины в старости.	150
«Я понял суть человека»	150
Еще один портрет.	153
Вечерний свет.	155
Ненаписанные сюжеты	160
Двойное зрение	161
Не забудь о Сальери	168
Энергия заблуждения.	169
Герой и автор	174
ЧЕЛОВЕК НА ПОРОГЕ. Тетрадь третья	178
Знаки.	178
Свет на морских волнах.	179
Одиночество как форма «жизни и творчества».	180
Варианты судьбы	182
Хроника ухода	183
Фундамент	187
Фрагменты жизни	189
Волны страха	190
Пометка для читателя	195
Ритуалы.	195
Магия имени.	198
Путешествие в Израиль и обратно	198
Последняя любовь	201
«Страшнее всего — страх»	202
Между прочим	203
Последние страхи	204
Прощай, Дон Кихот!	206

Из последних рассказов	208
Старый друг	212
Штрихи к портрету антисемита	217
Последняя пьеса	218
Подводя итоги	227
Между прочим	228
СМЕРТЬ И НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПОСЛЕ	
Начало тетради четвертой	229
Последняя тайна	229
В конце лабиринта	231
«Там и встретимся»	237
Вот и все	239
Международная пресса о книге	243
ОБ АВТОРЕ	252

ДИНА РУБИНА

ЕДИНСТВЕННЫЙ СЮЖЕТ

Книга Евсея Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» не имеет аналогов в русской литературе. В мировой литературе ее можно было бы сравнить с записками Эккермана о Гете, если бы героя книги Цейтлина можно было бы сравнить с Гете в чем-нибудь, кроме долголетия.

Это кропотливый, длительный и талантливый эксперимент по изучению истории человеческой души, ее страхов и мучительной борьбы с ними, история поражения и мужества и окончательного, возведенного самим героем, одиночества.

Несколько лет писатель и литературовед Евсей Цейтлин встречался со своим героем *И*, записывая его воспоминания, монологи о прожитой жизни, мысли о настоящем и прошлом.

Все беседы автора и его престарелого героя проходят под знаком будущей (и довольно скорой, по логике событий) смерти *И*. Это придает всему течению сюжета (хотя как такового, в литературном понимании этого слова, сюжета в книге нет) скрытую напряженность.

Поразительную роль выполняет в этой книге автор. Он тонкий понимающий собеседник *И* и в то же время «фигура за кадром». Он младший коллега по цеху и в то же время та душевная и нравственная инстанция, к которой постоянно апеллирует *И*.

Это одна из тех книг, к которым возвращаешься мыслью в самые неожиданные моменты собственной жизни, ибо путь каждого из нас предопределен Творцом, но нравственный выбор — а эта тема всегда была и есть главной в искусстве и в жизни — остается за человеком, за героем той книги, той единственной книги судьбы, сюжет которой каждый из нас проживает единожды и начисто.

«ДЕНЬ СМЕРТИ ЛУЧШЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ»

Сегодня произошло то, чего мой герой ждал несколько десятилетий. Его похоронили.

Замечаю: я впервые пишу о Йокубасе Йосаде в прошедшем времени. Он умер три дня назад. Но язык не поворачивался сказать о нем: был.

А сегодня, 12 ноября девяносто пятого года, земля упала на крышку его гроба. Лицо Йосаде в гробу, как почти всегда у мертвецов, было совершенно спокойным. Однако он и при жизни спокойно говорил со мной о собственной смерти. Например, однажды представил:

— Проводив меня на кладбище, не один человек переспросит: «А кем, собственно, этот Йосаде был в искусстве? Литературным критиком? Но статьи его давно забыты. Драматургом? Однако пьесы его не ставят театры. Автором нескольких мемуарных писем к сестре и дочери? Подумаешь, тоненькая тетрадка! К тому же смущает то, как Йосаде говорит о людях и в том числе о самом себе...»

Он помолчал. Хитровато улыбнулся:

— Вот тогда-то, дорогой мой, вы извлечете на свет божий свои записи... Умоляю вас: не надо панегириков! Пусть это просто будет рассказ о Йокубасе Йосаде, которого почти никто не знал.

Необходимое объяснение с читателем

Я выбираю для своей книги странный вроде бы ракурс — прощание героя с жизнью.

Нет, я вовсе не стремлюсь к оригинальности. Пишу о том, что волновало его больше всего. И что составляло прочный стержень наших бесед.

В первый же день знакомства, в первый же час, едва ли не в первые пять минут он признался:

— Готовлюсь к смерти. И это, пожалуй, самое лучшее, самое серьезное из того, что я делал долгие годы.

Йосаде испытующе посмотрел на меня:

— Как вы считаете, я прав?

Сказал ему то, в чем ничуть не сомневаюсь: подготовка к смерти не только может стать образом жизни, но способна наполнить жизнь реальным смыслом. Тогда-то и окажется, как сказал однажды царь Соломон, что «день смерти лучше дня рождения». И здесь, кстати, нет ничего нового. Достаточно вспомнить историю религии, философии, культуры.

Йосаде порывисто встал с кресла, обнял меня:

— Значит, мы единомышленники!

И все же он вернулся к этому разговору через день. Он еще недоверчив: вдруг его просто разыгрывают?

Переспросил:

— Вы встречали людей, в том числе и писателей, с той же целью, что сейчас у меня?

Я вспоминаю некоторых художников слова — их творчеством занимался прежде. Вспоминаю поэта и пастора Кристионаса Донелайтиса: тот шел к смерти, ведя трагический дневник на страницах старых приходских книг. Вспоминаю детского писателя, бывшего сибирского шамана: тот всюду, как эстафету, возил с собой мешочек с костями предков — время от времени он разговаривал с их душами. Вспоминаю мучительный интерес к смерти Всеволода Иванова — первопроходца и «оппозиционного классика» русской советской литературы...

Наконец — почти анекдот! — рассказываю Йосаде об одном знакомом музыканте. По вечерам он укладывался спать в гроб: «Привыкаю!» Нет, он не был сумасшедшим. Во всем остальном он был как все. И даже стеснялся этой своей «привычки». Кстати, у меня давно есть собственное объяснение подобной странности. Видимо, гроб настраивал музыканта на медитацию, как бы напоминал о вечности... Но я промолчал — ведь мы еще так мало знакомы с Йосаде.

Однако он тут же и — так же! — объяснил мне подоплеку ситуации. Воскликнул:

— Какой оригинальный, какой самобытный человек!

...Так начались наши беседы с ним. Первая — третьего августа 1990 года. Последняя — за несколько дней до его смерти.

Интонация и жанр

— ...Мне повезло! Я стал прощаться с жизнью тридцать два года назад. Именно тогда, в пятьдесят восьмом, мое сердце потеряло ритм. Вы слышите? Мне повезло! Человек не думает о вечном, пока не приблизится вплотную к могиле.

Увы, не могу передать ни его еврейский акцент, ни его плохой русский язык, ни особые — всегда откуда-то из глубины — интонации голоса.

Разве что синтаксис чуть-чуть поможет сберечь течение речи.

Разве что можно вспомнить материальное, физическое — его движения, к примеру: то, как закидывает актерски голову, старчески семенит на веранду, как вдруг выглядывают из-под маски морщин смеющиеся юные глаза.

* * *

Сначала записываю его монологи в обычную тетрадку. Он понимает маету этой работы, досадует: сколько же страниц потребуется, чтобы вместить его жизнь! Затем приношу магнитофон, который ничуть не смущает Йосаде. Напротив, какая-то тайная радость переполняет его.

Эту, как и другие «загадки» Йосаде, я обычно пытаюсь разгадать на следующий после интервью день.

Прослушиваю магнитофонную пленку. Одновременно веду свой дневник. Здесь же, в дневнике, фиксирую (коротко, главное!) и наши с ним беседы за ужином или на прогулке. А в последние три-четыре года начинаются долгие (иногда часами) разговоры с Йосаде по телефону.

Зачастую он звонит сам. Рассказывает о многом, ничуть не сомневаясь: я записываю...

Что ж, с самого начала мы не скрываем друг от друга: у каждого в этих беседах — собственный резон.

Йосаде: «У меня уже нет сил написать свою интимную, духовную биографию. Пусть она останется хоть в наших разговорах, в вашей будущей книге».

А я не скрываю от него главную цель своего переезда из России в Литву. Цель эта у многих вызывает недоумение (порой явное, иногда — невысказанное). Да, я приехал сюда, чтобы записывать рассказы последних литовских евреев. История их на редкость богата, недавнее прошлое трагично (в годы Второй мировой войны было уничтожено 95 процентов евреев Литвы); что же касается жизни литваков в последние несколько десятилетий, то она покрыта пеленой молчания...

«Молчание? Да, да, — подхватывает Йосаде, когда я напоминаю ему название книги писателя Эли Визеля о соплеменниках в СССР — «Евреи молчания». — Наше молчание в эти годы пронизано болью, кровью, слезами, стыдом... Молчали перед миром, молчали друг перед другом, молчали наедине с собой. Молчали, боясь КГБ. Боясь грозного ярлыка: сионист.

Я обязательно расскажу вам о своем молчании. И о том, как уходил от него. Между прочим, название одной моей пьесы не зря перекликается со словами Эли Визеля — «Синдром молчания»».

* * *

И еще. Два слова о жанре этих записок. Жанр не нов. Так называемый «дневник без дат». Указываю их только тогда, когда даты важны для повествования. К тому же я сознательно «перепутал», поменял последовательность своих записей. Конечно, интересно почувствовать

«движение дней». Но еще более интересно увидеть движение, тупики, «прорывы» мысли.

* * *

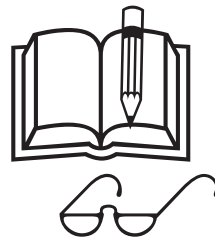
...Мысли, сознание человека, идущего к смерти. Вот предмет моего повествования. Вот что определяет интонацию, диктует сюжет...

* * *

В дневнике я называю его *й*. Пусть останется одинокая эта буква и в книге, которая лежит сейчас перед вами.

СЮЖЕТЫ ПРОЩАНИЯ

Тетрадь первая



| Лабиринт

й рассказывает свою жизнь как долгий перечень парадоксов. Иногда парадоксы его забавляют. Порой он ими даже хвастает. Гораздо чаще рассматривает эти парадоксы с печальным недоумением.

— Сравните, — обратился он ко мне, — сравните то, как жила моя семья, и то, как жили семьи других писателей Литвы. В большинстве случаев вы увидите, что называется, бурные сюжеты: похороны, разводы, размены квартир, часто безденежье... А у нас вроде бы все было тихо и мирно. Благополучно. Почти полвека прожили в огромной квартире в одном из престижных районов Вильнюса — на Жверина-се. Антикварная мебель. Полный достаток. Машина. Курорты. Моя жена — один из лучших в Литве врачей-эндокринологов, известный доктор Сидерайте. Я — всеми уважаемый литературный критик, а потом — драматург. Дети получили хорошее образование...

Он сделал паузу. И выдохнул:

— Но все это — внешнее. Жизнь внутренняя — подлинная — кипела как раз в нашей семье! Вы содрогнетесь, когда узнаете правду...

Глагол «содрогнетесь» заставил меня вспомнить о театре. Я подумал: опытный драматург строит таким образом «завязку» наших бесед.

И все же очень скоро я убедился: он прав. Больше того, его жизнь — вовсе не перечень парадоксов, но путь в лабиринте.

| СИМВОЛ

Тема подлинного и мнимого в его жизни, по мнению *й*, началась восемьдесят лет назад.

«...Я весь фиктивный. В моей метрике, к примеру, фиктивна дата рождения. Там значится: 15 августа 1911 года. А на самом деле... Я появился на свет назавтра после поста Девятого Ава. Вы помните, что это за день в еврейской истории? Он трагичен для евреев разных эпох. Девятого Ава произнесен Божественный приговор над выходцами из Египта — наши предки были осуждены сорок лет кочевать по пустыне. Девятого Ава уничтожены и Первый, и Второй храмы в Иерусалиме. На Девятое Ава приходится изгнание евреев из Испании в пятнадцатом веке. Я недавно подумал: а ведь примерно Девятого Ава началась и Вторая мировая война.

Откуда же взялась эта дата — пятнадцатое августа? Все метрические книги в Калварии — и гражданские, и в раввинате — были уничтожены в Первую мировую войну. Все, все сгорело. «Пятнадцатое августа», — сказал я писарю, когда поступал на службу в литовскую армию. Помнил: пятнадцатого августа родились многие выдающиеся люди, в том числе Наполеон».

А подлинную дату своего рождения *й* узнал лет через десять. «Это был первый день после Девятого Ава», — припомнит мать. И он пойдет к раввину. И тот достанет еврейский календарь за 1911 год. И окажется тогда: он на одиннадцать дней старше...

Этот рассказ *й* закончил, как и начал:

— Я весь фиктивный. Я пришел в мир не в день праздника, а после поминок. (23 октября 90 г.)

| Опыт самопознания

Собственная жизнь для него не менее таинственна, чем для меня. И с разных сторон пытается подойти к «тайне».

«Что сформировало мой характер, мой духовный облик и, в конце концов, мою биографию?

Вот, по-моему, самое главное: до двенадцати лет я не видел крови. Никогда. Ни крови человеческой, ни даже крови куриной. Я даже никогда не видел резника, который согласно еврейской традиции убивает животных особым способом — чтобы мясо было кошерным.

Никогда не видел мертвеца...

Сам не знаю, почему так случилось. В семье в эти годы никто не умирал. У соседей — тоже. А может быть, меня старательно оберегали от подобных впечатлений...

Не видел я и револьвера. В городке было трое или четверо полицейских. Когда они шли по улице, из их портупей выглядывали деревянные рукоятки.

В том мире, который окружал меня, царил не культ силы — культ ума.

Я знал: если между евреями назревает серьезный конфликт, они идут к раввину. Тот не может посадить в тюрьму, однако его решения выполняются беспрекословно. За словами раввина, какими бы они ни были, просвечивала мудрость Торы, Талмуда, предания...» (23 октября 90 г., 8 ноября 91 г.)

* * *

Все приходит в свой срок. В тринадцать лет еврейский мальчик обычно становится полноправным членом общины. Двенадцатилетний Янкель узнал сразу две тайны жизни — смерти и любви.

* * *

...Как всегда, в воскресенье приехала из деревни одна знакомая семья: что-то купить, просто погулять по городку.

Их было трое: две сестры и брат. Обычно они появлялись к обеду. В тот раз обед не состоялся. Уже садились за стол, когда старшая из сестер (ей было двадцать пять-двадцать шесть лет), поднявшись с софы и подойдя к столу, вдруг упала.

Ее тут же уложили в постель, диагноз для врачей очевиден: паралич. Больную нельзя было никуда перевозить. Три дня она находилась в той же комнате, где спал Янкель. (Собственно, это была кровать старшей сестры, но той нашли другое место, а ему, мальчику, не смогли: в доме очень тесно — ведь гости так и не уехали.)

Конечно, никто не думал, что больная умрет. А Янкель не сомневался в этом. Слушал ночами шумное, сбивчивое дыхание и ждал: скоро ли все кончится? Засыпал, снова вслушивался.

Она пролежала ровно трое суток. И однажды ночью затихла.

* * *

Столь же внимателен *й* к жизни плоти.

Записи наших бесед о том, как трансформировалась любовь в двадцатом веке. Проблемы, над которыми он размышляет в связи с пьесой «Жертвоприношение»: что преобладает в любви теперь — эротика или духовность; что такое творчество любви.

Кстати, в те же самые ночи, когда он, двенадцатилетний, почувствовал присутствие смерти, Янкель услышал и «дыхание любви».

В той же комнате, кроме мальчика и умирающей, были еще двое: восемнадцатилетняя сестра больной и молодой санитар.

Любовные игры на полу, которые сначала кажутся мальчику сном. Спустя семьдесят лет его волнуют вопросы: видела ли *э т о* умира-

рающая; была ли та любовь кощунством; бывает ли вообще любовь кощунством; что такое любовь...

Его до сих пор, как всякого творца, волнуют вопросы подростков.

* * *

2 октября 95 г. *й* рассказал мне неожиданное и многозначительное для него продолжение той истории.

— Сразу после войны, приехав в Калварию, я пошел на городское кладбище. Когда-то оно было большим, красивым (между прочим, удобным для любовных свиданий). А теперь кладбище превратилось в пастбище. Евреев в городке почти не осталось. Плиты с кладбища растащили местные жители. По всей Литве еврейские надгробья несколько десятилетий использовали для строительства. Я стоял, оцепенев, и смотрел, как корова бродит по могилам, выщипывая траву. Вдруг я заметил могильную плиту. Всего одну. Оставшуюся каким-то чудом.

Я подошел ближе. Легко прочитал имя и фамилию: Нехама Криснянская... Да, так звали молодую женщину, которая умерла у меня на глазах.

Я был в то время не то что нерелигиозным — убежденным атеистом. И все же смутная догадка прошелестела в моей голове: это совпадение не случайно. Я почувствовал указующий перст Бога. Только не смог тогда, да и сейчас не могу объяснить этот символ.

| Пометка для читателя

Я отбираю записи наших бесед с *й*, а также фрагменты своих дневников. Вижу: между отдельными главами часто возникают смысловые пробелы. Почему я сознательно оставляю их? Пусть читатель сам отыщет «связующую нить». Пусть, если захочет, вообще по-своему перекомпонует эту книгу. А я боюсь быть категоричным, пристрастным в оценках, предположениях. Ведь, в конце концов, замысел каждой

человеческой жизни — от рождения и до смерти — известен только Творцу. Ибо, как сказано в Торе, «не по своей воле ты родился, не по своей воле ты живешь, не по своей воле ты умираешь».

| Театр... театр?

ЛОЖА. «Итак, только приблизившись к смерти, я начинаю по-настоящему жить. Шел тысяча девятьсот восемьдесят пятый год. У меня диагностировали второй инфаркт. И тогда я окончательно пересел в ложу...»

Что это такое — «ложа»? Легко понимаю из контекста:

— Мне хорошо. Я сижу в ложе жизненного театра. Я спокоен. Я могу ни о чем не терзаться.

Или чуть в иной вариации:

— Я в ложе, мне восемьдесят лет. Я теперь позволяю себе говорить о чем угодно, что угодно, кому угодно.

В связи с этим напоминаю *й*: «ложа в жизненном театре» — место, которое любили и любят многие. Вот хотя бы Пифагор. «Жизнь, — говорил он, — подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные — торговать, а самые счастливые — смотреть...»

— Да! Да! — немногословно согласился *й*. Пифагор ему не слишком интересен. Интереснее было бы, если б он сам стал первооткрывателем подобной жизненной философии.

* * *

Меня чуть смущает то, что слова *й* отдают самогипнозом. Даже формулы совпадают: «Я спокоен, я очень спокоен, мне хорошо...»

Конечно, его место в театре жизни не просто удобно. Конечно, это самая верная позиция писателя. Но одновременно его «ложу» пронизывают, если так можно выразиться, сквозняки. Человек, исповедующийся на площади, беззащитен. *й* хорошо знакомо чувство холода, пустоты

вокруг. Ощущение реальности ухода. «Я одинок. Я очень одинок...» Это тоже рефрен наших бесед.

* * *

ЙОСАДЕ И ТЕАТР. Тема, в которой много поворотов. Самое очевидное: он драматург, автор двенадцати пьес. Он и окружающих часто воспринимает как персонажей будущей драмы. Говорит со своими героями. И — за героев. Наконец, *й* театрален по характеру: любит вживаться в новые «предлагаемые обстоятельства».

* * *

МИФЫ. Сначала *й* творит их, затем увлеченно и радостно живет среди мифов.

При знакомстве сообщил доверительно:

— Мне ничего уже в жизни не надо. Я богат. Я очень богат. Как вы думаете, сколько денег лежит сейчас у меня в сберегательной кассе?

Пожимаю плечами. А он отвечает, как бы удивляясь сам:

— Сорок восемь тысяч! Ну зачем, зачем они мне? Я могу купить себе все, что захочу. Только хочу я сейчас так мало...

Заметив в моих глазах невысказанный вопрос, он объясняет:

— Это все мои гонорары...

Тут я начинаю сомневаться. Я ведь знаю, как «велики» гонорары драматурга, чьи пьесы шли в двух-трех театрах Литвы, что такое гонорары литератора, выпустившего два томика пьес, одну книжку критических статей и одну — прозы. К тому же четверть века уже *й* нигде не служит... Тем не менее я с радостью верю в его богатство! Люди почему-то чаще всего приписывают себе нищету.

О собственных капиталах *й* рассказывает многим. Нередко предлагает даже распахнуть двери шкафов в своем доме:

— Откройте, посмотрите. Вы сами увидите, какие ценности здесь хранятся!

На самом деле сумма вкладов в сберегательной кассе в... сорок раз меньше, чем он говорит. Сначала узнаю это от доктора Сидерайте, а потом (в 1994 году. — Прим. Е.Ц.) от самого й.

Нравится ли ему роль богача? Бесспорно. Может быть, нравится с детства. Вот и отца, фабриканта, й делает — в своих устных рассказах — гораздо богаче, чем тот был на самом деле.

А может, ему кажется: так эффектнее, контрастнее, что ли, выглядит его сегодняшнее кредо: «Ничего уже мне в жизни не надо».

* * *

РАЗГОВОР С ИИСУСОМ ХРИСТОМ. 11 ноября 92 г.

— ...Я говорил с Христом два часа. Писал монолог для своей пьесы.

Уточняю:

— О чем именно беседовали?

— Вы ведь знаете меня — угадajte...

— Наверное, о том, что тяжелее: любить или быть любимым, просить прощения или его принимать.

— Угадали! Почти угадали. Мы говорили о том, нужна ли вообще любовь, может ли она изменить человека. Не совершил ли ошибку Христос, поставив любовь в центр своего учения.

* * *

Не знаю, есть ли где-нибудь в его архиве заметки с таким определением собственного призвания:

«ДРАМАТУРГИЯ — СУТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ. Я нашел себя в ней. Растворился. Диалог для меня — универсальный способ бытия. К сожалению, я нашел себя поздно. Кроме того, я никогда по-настоящему не был советским драматургом. Потому приходилось изворачиваться, говорить со зрителем намеками. Иногда это было даже на пользу

пьесе. Но нет, далеко не всегда...» (Из разговора за ужином, 15 ноября 92 г.)

* * *

Признается: нередко он как бы составляет «сценарий» своих отношений с тем или иным человеком. В «сценариях» *й* обычно много неожиданностей («так интереснее»).

Время от времени я думаю: а что ожидает в его планах меня?

* * *

Не сомневаюсь: он хотел бы прожить множество жизней. Причем прожить по-разному. Не этой ли цели служит, в конце концов, его «ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА»?

Вечером (12 декабря 1991 года. — *Прим. Е.Ц.*) застаю у него фотографа, который должен сделать серию снимков *й* для какого-то журнала.

На бархатную скатерть, на красивый старинный столик, водружен альбом с фотографиями. Зачем их сейчас, перед съемками, пересматривать?

«А как же! Чтобы не было повторов. Вдруг та или иная поза уже использовалась мной раньше? Знаете, я люблю сам режиссировать, когда приходит фотограф!»

И вот, втроем, перелистываем страницы альбома.

...Глаза *й* на снимке полны иронии. Поперек лба — две резкие тени. Черт? Кого же он искушает? Свое второе «я»?

Дедушка и внучка. Он светится добротой. Почти «рождественский» снимок.

Пятидесятые годы. *й* — за письменным столом. На его голове — еще пышная шевелюра волос. Он подтянут и оптимистичен. Советский писатель, озабоченный проблемами соцреализма.

Городской рынок. Тоже символ людского мира. Человек, вдруг остановившийся среди спешащей толпы. В одной руке — трость, в другой — большой конверт. Фон: огромные связки фруктов.

Солдатская гимнастерка, фронт. В прищуренных глазах — вопрос: «Так что же там, впереди?»

Выставка живописи. Чужие работы так похожи на декорации к пьесе его собственной жизни.

Вдвоем с женой. Счастливая семейная пара. Ей пятьдесят, ему — шестьдесят. Он откинул голову назад, раскатисто смеется.

Увлеченно ковыряет ложечкой яйцо. На обороте снимка — надпись, сделанная в ноябре 1977 года: «...кто же был раньше — я или яйцо?»

Фотографий множество. Каждая словно мизансцена нового спектакля. *И* примеряет новую маску. Легко входит в новую роль.

Но где же он подлинный? Где его собственное лицо?

Говорю ему об этом, когда мы начинаем беседовать, включив магнитофон. Он ничуть не обижен. «Где мое истинное лицо? Вот это вопрос! Я и сам не знаю. Я все еще ищу себя. Даже сейчас, перед смертью».

* * *

Его «театральность», склонность к мистификациям раздражают многих литовских евреев. *И* знает их позицию и демонстрирует ее в нашем разговоре достаточно четко:

— Театр? Ну какой может быть театр для литовского еврея? Какая может быть пьеса, кроме трагедии? Ведь рядом — Понары... А Йосаде? Он просто старый фигляр.

* * *

ТЕЛЕГРАММА, посланная *И* в Паневежский драматический театр в связи со смертью Юозаса Мильтиниса:

«Он еще при жизни стал легендой. А легенды не умирают. Мильтинис жив. Жив. Йосаде».

й читает мне телеграмму по телефону. Конечно, она банальна. Чуть выводит из банальности повтор в тексте: «...жив. Жив». Кажется, впрочем, это автор телеграммы упрямо повторяет и о себе самом!

А потом й рассказывает мне — в который раз! — о Мильтинисе. О первой их встрече где-то в кафе. («Я поделился замыслом рассказа. И он воскликнул: “Тут уже сюжет пьесы! Приезжайте ко мне, я покажу вам, как делают драму”».) О своем приезде в Паневежис. («Он открыл мне дверь, я ахнул: старый халат, на голове — чалма, скрученная из полотенца. Он не ждал меня? Но ведь я приехал вовремя. А может быть, наоборот, ждал? И нарочно надел халат вместо какой-нибудь бархатной куртки, положенной «по рангу» знаменитому режиссеру».)

Это «примеривание» жизненной роли, бесспорно, близко самому й.
«Потом Мильтинис, как и я, занял свое место в ложе...»

й замолкает внезапно. Видимо, вспоминает, что в театре, как и в жизни, занавес рано или поздно закрывается. (15 июля 94 г.)

| «Ярый враг тайН»

Наблюдательность? Любопытство? Как точнее назвать эту его черту, которая так гипертрофирована у й?

Выспрашивает у меня бесконечные подробности о знакомых и всем незнакомых ему людях. О моей дочери (никогда ее не видел). О бывшем муже Ю. («Вы говорили, что он коммерсант. Ну и на что он сейчас надеется?») О распорядке дня З., о романах С., с которой говорил разве что по телефону... Как расставляет он мысленно эти человеческие фигурки?

* * *

Потому-то в отличие от большинства писателей й любит не только поговорить. Любит слушать.

* * *

Осенним днем гуляем с ним неподалеку от его дома — по улочкам, которые *й* десятилетиями раньше исходил вдоль и поперек.

Он знает едва ли не каждого. Знает, «кто и где работает, кто и как ворует, кто и с кем спит...» Говорю ему в связи с этим: «Бабель часто мечтал узнать содержание той или иной женской сумочки». — «Как он был прав... Какие здесь могут открыться тайны!»

* * *

Подобно тому, как библиофил ищет редкую книгу, *й* порой месяцами разыскивает того или иного человека. К примеру, на протяжении нескольких лет произносит имя одной молодой женщины: «Как и где я могу ее все-таки найти? Мне это так важно!»

Она литовка; решительно приняла иудаизм, соблюдает традиции, выучила сначала идиш, а потом иврит, работала в архивах и библиотеках, постигая судьбы еврейской интеллигенции в Литве предвоенной поры... Однако *й* волнует ее собственная — не ясная ему — судьба.

* * *

Это он, конечно, сказал не о персонаже пьесы — о себе самом: «...Ярый враг тайн. Таков уж характер. Стоит мне столкнуться с тайной, как безумно хочется разгадать ее».

* * *

Вспоминая о людях, *й* почти никогда не употребляет отрицательных характеристик. «Нравится — не нравится... Это совсем не предмет размышлений. Мир ничуть не изменится от того, как я к нему отнесусь».

Люди для *й* интересны или... менее интересны. Неинтересных нет совсем!

Другое дело — хочет ли он общаться с тем или иным человеком? Говорит, что за пятнадцать минут может определить, личность перед

ним или нет. Фигуры, закутанные в стереотипы, близко к себе не подпускает. («С детства ненавижу толпу!») Однако всегда стремится изучить «представителя толпы». («Я хотел бы влезть в каждую душу!»)

* * *

Вот и опять:

— Какой интересный человек! Был четыре раза женат. Каждая жена похожа на предыдущую. Только менее красива...

Есть ли в словах его ирония? Ничуть. Наверное, интересно й то, о чем он сейчас молчит, — предопределенность нашего выбора. Опять-таки: судьба.

* * *

Некоторые человеческие качества он вообще подвергает сомнению: «Не знаю. Не встречал». Например, героизм.

«Я прошел фронт, но героизма нигде не видел. Вы знаете, со мной откровенны многие люди. Так было и в окопах. Часто перешептывались мы ночью, открывали друг другу душу. Слышал: «Не хочу отдавать животик». Но никто и никогда не говорил о героизме и патриотизме.

Я видел другое: каждый хотел жить и каждый боялся смерти.

Видел: у многих на фронте не выдерживали нервы. Большинство из тех, кто первым поднимался в атаку (я их знал хорошо), были именно такими людьми. Нет, они не были героями или какими-то особыми патриотами. Получаешь приказ: «Ну, давай!» И тогда уже ни о чем не думаешь. Наконец, есть ситуации, когда иначе поступить нельзя.

А герой, по-моему, — это человек, убежденный в том, что делает».

* * *

Прочитав один из диалогов его пьесы «Прыжок в неизвестность», опять вздрагиваю. А он соглашается: «Конечно, дорогой мой. Это обычный мой способ изучения человека».

ЮЛЮС. ...Вдруг почувствовал, что вы пристально следите за каждым моим движением: как я кладу ногу на ногу, как удобно откидываюсь на спинку кресла и даже как выпускаю дым из носа и рта. Наблюдаете и следите не из любопытства, а испытующе — у меня мороз по коже пробежал...

САКАЛАС. Ничего в этом плохого нет, я наблюдателен. Понятия не имею, от кого я это унаследовал...

ЮЛЮС. ...Вы специально создаете ситуации, которые вынуждают меня вести себя с Бируте одним образом, с вашей супругой — другим, а с Саломеей — третьим. Если же эксперимент не подтверждает вашу генетическую теорию, создаете новую коллизию и приступаете к следующему эксперименту. Я постоянно чувствую себя так, будто меня ворочают, мнут и тискают в лабораторной пробирке.

* * *

5 и 6 ноября 90 г. «Я долго тренировал себя в искусстве наблюдать. Когда-то я был таким, как все: несмотря на любопытство, люди мало что замечают вокруг. Смотрят — и не видят.

В юности я более года посещал одну еврейскую семью. Там — в сущности, при мне — торговали кокаином. Я этого, однако, не понимал.

Это было в Каунасе. Поскольку мои заработки в газете были скудны, я ежедневно давал несколько уроков.

В ту семью я являлся примерно в три часа дня. Некоторое время сидел в гостиной — ждал, когда меня пригласят обедать (обед входил в условия оплаты моего труда). Обычно рядом со мной сидели на софе какие-то люди. В основном это были не евреи — важные господа, чиновники. На меня они не обращали внимания: «Ах, это учитель!» Я тоже меньше всего думал о встречах в гостиной. Гораздо больше меня волновала моя пятнадцатилетняя ученица. После обеда мы занимались математикой: мне так мешали сосредоточиться ее круглые коленки...

Только много месяцев спустя я догадался спросить девушку о странных посетителях их квартиры. Ответ был простодушен — меня в этом доме ничуть не стеснялись:

— Они специально приходят к нам покурить. Мама дает им что-то, от чего становится хорошо».

* * *

Наш диалог (3 сентября 90 г.). *Й*:

— Моя соседка — молодая еще женщина — призналась мне, что спала раньше со своим отцом. Когда тот был моложе.

— О чем же вы спросили ее?

— О том, какие они вели разговоры в постели.

— И что же...

— Не помнит. Ничего не помнит. А может, они молчали. Для того чтобы говорить в подобной ситуации, нужна полная свобода от морали, точнее — новая мораль.

* * *

...Спустя полвека ему все более и более интересна врач из Талды-Кургана. Когда-то во время войны *Й* — беженец — пришел в поликлинику на прием. Вскоре врач донесла на *Й* (своего пациента) в НКВД.

«...Очень симпатичная женщина — настоящая русская красавица. Она щупает мой пульс, слушает сердце, смотрит горло... Что-то спрашивает. Мой акцент, мой плохой русский язык (я ведь его никогда не учил) вызывают вопросы:

— Откуда вы? Из Литвы? Где это — Литва?

Ну и начинаю рассказывать. Мол, это не так далеко от германской границы.

— Так вы знаете немцев?

— Конечно. И даже очень хорошо. В нашем городке жило много немцев. Кстати, немцем был и самый лучший мой друг юности.

— Так что же это за народ?

— вспомните сами. Немцы дали миру Канта, Бетховена, Баха... Но вот пришел Гитлер...»

А потом она смазывала *й* горло, выписывала рецепты... А потом *й* отправился в столовую — заказал борщ, сел за столик. Тут-то он увидел в дверях человека. Тот уверенно поманил *й* пальцем: «Идите за мной...»

Спустя полвека *й* добродушен:

— ...Скорее всего, та врач была хорошей русской женщиной, патриоткой. И, наверное, гордилась тем, что выполнила свой долг — помогла фронту, приблизила победу.

* * *

Интересен ли себе он сам? Очень! Особенно в моменты кризиса, растерянности. И конечно, становления.

10 декабря 90 г. Наш разговор начинается с его вопроса:

— Вы спрашивали меня, где же подлинное мое лицо?

Это по поводу смены поз на фотографиях, перемены «ролей», вечной «игры»... Продолжает:

— Суть, существо индивидуума — от Бога. Но вот проблема: человек не знает себя. Он сам для себя — закрытая коробочка. Всю жизнь хочет ее открыть. Понять: «Кто же я такой?» И человек ищет себя — развивает, формирует.

— А может, при этом и губит?

— Может быть, и губит. Он ведь не знает, в какую сторону идти. Ищет.

— Надо прислушаться к себе...

— Обязательно! Да только не каждый умеет... Мне, на первый взгляд, легче. Я пишу пьесу, в которой действует приблизительно десять персонажей. Я рассматриваю их, ищу их лицо. И — одновременно — ищу

свое... А фотографии? Это пробы. Может, истинна та. А может, другая. Или эта? Бог знает! Я — не знаю.

— Но фотографии эти так далеки друг от друга!

— Что ж... Я словно в джунглях. Теряюсь... Это трагический процесс — искать себя.

Он сознает многоликость, многослойность человеческого существа. Потому добавляет:

— Если бы верна была одна фотография, портрет был бы слишком мелок. Внешне, может, это выглядело бы твердостью, определенностью натуры: «Глядите, вот я каков!» Но это был бы обман.

* * *

С такого интереса к человеку и начинается писатель. Скажу больше: настоящий писатель. Но свои наблюдения *и* почти не успел перенести на бумагу. Или долго не решался.

| Возвращение

«И у меня теперь, как у всех. Всегда перед смертью человек возвращается в детство. Все остальное удаляется, отлетает постепенно. И он опять — маленький, одинокий — наедине с миром».

* * *

«Я расту в небольшом городке.

Семья как семья. Четверо детей. Я и три сестры. Я — старший. Одна сестра, взяв с собой грабли и лопату, уезжает в тридцать четвертом в Палестину — строить еврейское государство. Она и сейчас там. А двух других сестренок, как и наших родителей, расстреляли в начале войны.

...Отца зовут Мойше, Мозес; мать — Фейгл. По-еврейски это значит «птица»! Она и похожа на птицу — очень энергична, не ходит,

а летает. Я весь в нее. В городке знают: моя мама — большая умница, именно она ведет в нашей семье все дела — не только дома, но и на фабрике...»

* * *

Так и не случилось. Так и не поехали мы с ним в Калварию. Хотели: взглянуть вместе в глаза — нет, не людей — домов его детства; вернуть — голоса, запахи, сказки.

Я заболел. И он поехал с сыном, Иосифом. Боялся потом спрашивать у него. Он отмалчивался. «Да, очень интересно. Но все изменилось...»

Очевидно, что поездка разочаровала *й*. До этого он был уверен: всего в нескольких часах езды существует заповедник его детства и юности. Но, оказалось, прошлое жило только в нем самом: дома и улочки, запахи субботнего ужина, женщины детства, старый мост, под которым он назначал свидания, тщеславные надежды, шорохи летней ночи...

* * *

Он возвращается в Калварию, когда рассказывает мне свой план экспозиции Еврейского музея в Вильнюсе. В этом плане я опять угадываю ненаписанную прозу *й*.

Итак, надо каким-то образом воссоздать в музейных залах несколько улочек Калварии. Нет, дело не в этнографии, точнее — не только в ней. Надо передать в музее ритм этой пропавшей, канувшей в безмолвие времени жизни. Синагога, лавочки, хедер, несколько домов; свадьба и хупа; брит-мила новорожденного — священный обряд обрезания, символизирующий связь народа и Бога...

* * *

й рад моему вопросу: почему? Он сразу выстраивает цепочку доводов.

«Литовские евреи всегда были «солью» восточноевропейского еврейства. В своем регионе (а речь не только о Литве, но и о прилегающих к ней некоторых областях Белоруссии и Польши) они создали совершенно особый мир... Создали и сберегли этот мир вплоть до той поры, пока почти полностью не были уничтожены сами.

Литваков (так они себя называли) не коснулись ветры ассимиляции, пронесшиеся над всеми странами Европы и Америки. Из года в год, из века в век литваки жили в своих городках и местечках, точно издревле — по неписанным законам Кагала...»

Я знаю, что последнее утверждение *й* чересчур прямолинейно: его собственная жизнь служит тому доказательством. Но я не спорю с *й*. Только уточняю:

— Почему в музее надо восстановить именно кусочек Калварии?

— Так ведь это было сердце еврейской Литвы!

* * *

«Нужна статистика, — настаивает он. — Нужно, чтобы посетители музея почувствовали ритм бытия: количество свадеб, разводов, рождений... почувствовали колорит, душу, живой уклад быта — мебель... костюмы... книги... дневники... фотографии... телефонный справочник... песни».

Я говорю ему, что так (или почти так) устроены многие еврейские музеи мира.

Ему хочется спорить! Ах, как неприятно ему слышать это! Как же можно сравнивать еврейский музей Вильнюса, который не зря когда-то называли Литовским Иерусалимом, с другими музеями? Как можно уравнивать Калварию с другими местами? Как это можно — уравнивать с чем-то его, *й*, замысел!

| Тень Фрейда

Потревожу тень Фрейда. В данном случае мне не кажется это банальной данью моде.

й говорит о Фрейде часто (другие важные для него имена-символы: Шопенгауэр, Ницше, Стефан Цвейг, Фейхтвангер, Достоевский...).

й сознательно высвечивает отдельные эпизоды своей жизни. Хочет понять «тайное тайных» собственного характера. Понять вечное: кто я?

Из его рассказов о детстве и юности все время вспоминаю один. Резко очерченный, многозначительный. Кажется, это фрагмент какого-то фильма.

* * *

...Разорился отец. Фабрика вот-вот будет описана. Яков узнал об этом днем. А узнав, с удивлением прислушался к себе. В душе нет ни отчаяния, ни волнения. Лишь слабая жалость к отцу, смешанная с презрением. Тот часами стоял у окна: смотрел, как между оконными рамами бьется — напрасно сопротивляясь судьбе — застрявшая там муха.

* * *

Об отце й обычно говорит спокойно, но с каким-то привычным «отстранением». На днях (23 октября 1990 г. — Прим. Е.Ц.) й объясняет причину этой «отстраненности», которая далась ему нелегко. И не сразу.

«Мне было лет восемь–десять, когда я стал ощущать напряженную обстановку, царившую в нашем доме. Это было связано с отношениями между отцом и матерью. В чем дело? Разобраться я, конечно, не мог».

Он приглядывался, прислушивался, сопоставлял. («Прекрасная для будущего писателя школа психологического анализа».) Наконец, узнал: во всем виновата женщина.

Ее зовут Ева. Раньше она была служанкой в их доме, потом перешла работать на фабрику. С детства в памяти ее лицо — красивое, выразительное; ее полная фигура, олицетворяющая женственность.

В их семье не было тепла, гармонии.

«Я рано начал думать: почему? как это преодолеть? Чаще всего видел один выход: убить отца. Ведь он предал жену, детей.

Мне было тогда десять–двенадцать лет. Отца я ощущал как врага. Представлял: вот он идет к Еве, за ним следят из окон многие жители городка... Я пытался представить и свое мщение. Однако... Я все больше ужасался собственному плану. Наконец, понял окончательно: нет, отца убить не смогу!

Помню, как похитил в кухне большой нож. Им, наверное, разделявали мясо. Вот этим-то ножом, сказал себе, и убью ее.

Каждый день я доставал нож, сладострастно щупал лезвие. Пока не принял новое решение: да, я должен убить Еву, но убить словами. Так однажды я и отправился к ней.

Мне было уже восемнадцать. Еве — около сорока. (Я недавно узнал, что все они, герои этого «треугольника» — отец, мать, Ева, — родились в 1888 году.)

Стояла поздняя осень. Лил дождь. У нас в доме горели свечи. Шабат! Царица-суббота. После праздничного ужина я вышел на темную улицу.

Я хорошо помню ту минуту, когда Ева открыла мне дверь. Мы оба растерялись. Несколько минут стояли в молчании. Потом я шагнул в комнату. Сел.

Увы, тогда я считал себя вправе судить других. Я предложил Еве — резко и категорично:

— С завтрашнего дня вы должны уйти с фабрики. Ищите себе другую работу.

Ева опомнилась:

— Ты еще пацан, молокосос. Почему же ты указываешь мне, как жить?

Она распахнула дверь:

— Вон отсюда!

Я остался сидеть на стуле. Сказал ей, что жизнь ее отныне в опасности. Я никогда не прощу ей несчастья нашей семьи».

Ее слезы. Он разглядывает бедную комнату без удобств. Слышит — сквозь всхлипы — историю чужой жизни. Как и где достать завтра другую работу? Она одна, у нее никого нет. Фабрика для нее — вся жизнь. Она очень хорошо работает, помогает его отцу. Она почти хозяйка на фабрике: следит за другими, следит, чтобы не воровали, по-своему охраняет отца и их добро.

Его слезы. Его доводы: он несчастнее, чем она. Она ведь не знает, что творится у них в доме, как страдает мать, как страдают дети. Она начинает его успокаивать, гладить по голове. У нее нет собственных детей; может быть, ей кажется: это ее взрослый сын пришел к ней со своими бедами. Она сажает его к себе на колени, гладит, как ребенка, по голове. Она целует его: «Ну хорошо, маленький, успокойся, как-нибудь все обойдется...»

Его поцелуи. Сначала поцелуи сына. Потом... Он чувствует, что целует красивую женщину. Потом...

И прерывает себя:

— Знаете, почему я вам рассказываю это? Моя пьеса «Жертвоприношение» выросла из этого воспоминания.

Их роман продолжался месяц или полтора. Каждый вечер он был у Евы.

Спрашиваю: «А что же ваш отец?» — «Мы оба не думали тогда об отце, хотя... Наверное, их отношения тоже продолжались. Днем».

Никто ничего не узнал. Но вдруг Янкель словно остановился на ходу. Опомился. Он не мог оставаться дома.

— Вы себе не представляете, что творилось во мне, когда я видел отца. В конце концов, уехал в Каунас. Это был побег. Видимо, с того дня началась для меня другая жизнь.

* * *

й вспомнил о пьесе «Жертвоприношение». Тема искусства, сопряженная с древней темой инцеста. Наши с ним споры (в октябре-ноябре 90 года). Герои: знаменитый скульптор, увлеченный новой работой; его тяжелобольная дочь, которой нужна пересадка почки, умоляет отца пожертвовать ради нее собственной почкой и в полубеспамятстве возвращает отца. Финал пьесы. Трагедия жены скульптора, которая вдруг узнает обо всем и сходит с ума.

Сказал й, что, разрабатывая эту тему, можно достичь высокой трагедии или скатиться в пропасть пошлости.

| Фрагменты жизни

— НУ ЧТО Ж, НАЧНЕМ, — говорит он.

Я нажимаю кнопку магнитофона и вижу, как вспыхивают огоньки в его глазах... Что ж, не зря восточные философы считают: человек живет по-настоящему только в своих воспоминаниях. (18 августа 90 г.)

* * *

ПРОРОК. Писатель рано или поздно осознает себя им. По дороге к смерти й тоже нередко «предсказывает». От пророка отличает его отсутствие важной позы, котурнов и соответствующей позы интонации.

* * *

ЕГО ОЦЕНКИ ПРОИСХОДЯЩЕГО В ЛИТВЕ СТРАННЫ. Но, может быть, только на первый взгляд?

Хвалит сначала В. Ландсбергиса:

— Настоящий лидер нации. Сумел ее сплотить. Я дал бы ему Нобелевскую премию: идет к цели, добивается своего без применения силы, без крови, которая льется почти всюду в бывшем СССР, кроме Литвы.

Хвалит потом А. Бразаускаса:

— Литве нужны его основательность, отсутствие крайностей.

Когда я напоминаю *й* о его прежних словах, ничуть не смущается:

— Все правильно. У каждого — свои достоинства. А главное даже не в этом.

— В чем?

— Вы увидите: Литва найдет собственный путь. Совсем неважно, кто будет у власти. Даже если отойдут в сторону, то не потеряют дорогу. Я верю в характер литовца. Он нетороплив. Однако, что-то поняв, никогда уже от своего не отступится.

А вообще о политике говорить ему не хочется...

— Я слушаю «последние известия» один раз в день, утром. Бреюсь и включаю приемник. Минут десять доносится до меня шум мира. Сейчас думаю: не слишком ли много?

| Нить страха

23 октября 90 г.

— Расставаясь с жизнью, хочу от многого избавиться, очиститься... Я хочу рассказать о том, что так долго таил от всех...

И все же *й* не сразу произносит это слово — страх. Потом тема страха пройдет через многие наши беседы. Окажется: именно страх связывает плотно целые десятилетия жизни *й*.

Впервые мы подходим к этой теме сегодня. Подходим вроде бы случайно. Пьем кофе. Он спрашивает:

— О чем вы не успели написать, живя в России?

Размышляю недолго:

— Ну конечно, об удивительной роли страха в творческом сознании советского писателя...

Как всегда, *й* примеривает сказанное к себе:

— Чехов призывал каждый день выдавливать из себя раба... Я все эти тридцать лет прощания с жизнью «выжимаю» из себя страх. Знаете, недавно написал об этом письмо известной еврейской поэтессе Доре Тейтельбойм. Написал о том, что случилось во время нашей встречи в Израиле — именно под воздействием страха.

Я останавливаю *й*. Предлагаю вернуться на многие десятилетия назад, начать сначала. И мы записываем на магнитофон его воспоминания о первых, уже, кажется, похороненных страхах.

* * *

«...Мне — от тринадцати до пятнадцати лет, не помню точно, сколько. Однажды, когда мы с товарищем выходим на улицу, он показывает на какого-то человека.

— Ты заметил его? В любую минуту может тебя арестовать.

— Кто?

— Да он же...

Я прозреваю внезапно. Как же я не обращал внимания раньше? Ведь этот тип резко выделяется среди других жителей нашего городка. И все знают, откуда он. Тайная полиция! Черный котелок, строгий черный костюм — и летом, и зимой. И, может, потому — очень бледное лицо.

Это первая наша встреча. Потом уж я всегда замечаю его — издалека.

1926 год... В Литве переворот. К власти приходит Сметона, его поддерживает армия. В одну ночь в нашем городке арестовывают пять или шесть человек.

За что? За убеждения. Все они — социалисты, ничего еще не совершили; но их взгляды не нравятся тем, кто теперь во главе государства.

С этих пор меня начинают преследовать сомнения: «Разве можно арестовывать за мысли?!» И еще: «Может быть, мысли кто-то читает?»

Конечно, я боюсь за себя. Я знаком уже с различными социальными теориями, с трудами философов, экономистов, публицистов разных направлений. Вдруг и я мыслю не так, как можно? Вдруг и меня арестуют?

Отныне, встречая человека в черном, перехожу на другую сторону улицы. А что если он «считывает» и мои мысли?

Избегаю его, но одновременно — хочу встретиться. Какая-то сила притягивает меня к человеку в черном.

Однажды я устремляюсь вслед за ним. Он заходит в парикмахерскую. Я тоже. Сажусь рядом. Весь — напряжение. Вот его приглашают в кресло. Вот, глядя в зеркало, он наблюдает за всеми в зале. Наконец, смотрит на меня. По-особому, пронзительно.

Я запоминаю эту сцену навсегда. Наверное, подсознательно я уже готовлюсь стать писателем, хочу понять механизм Зла...

— Не отсюда ли тянутся ваши страхи, связанные потом с советскими аббревиатурами — НКВД, МГБ, КГБ?

— Именно об этом я и хотел сказать вам сейчас. Именно здесь начинается особая линия моей духовной жизни.

Знаете, каждый раз, когда я прохожу мимо мрачного здания Госбезопасности в Вильнюсе, я, даже если очень спешу, невольно приостанавливаюсь. Бросаю быстрый взгляд. Почему? Потому что я провинился. Я все еще мыслю иначе, чем они хотят.

Я все еще их боюсь».

| СНЫ

Если прав все тот же Фрейд, сны раскрывают скрытые закономерности жизни. Может быть, они многое могут сказать и о том, как человек идет к смерти. Вот почему записываю сны *й*.

* * *

«Вчера я увидел во сне тему картины. Тут же дал ей название: «МОЯ СВЕЧА, ИЛИ ЕВРЕЙСКАЯ СВЕЧА».

Да, это была именно горящая свеча! Однако она все же не походила на обычные свечи — причудливо изломана! В этом странном сгибе я видел то чью-то искривленную спину, то еврейский нос. А в язычке пламени с удивлением разглядел глаз. В основании свечи были черепа, отекающий воск вдруг превращался в кровь... Пламя светило еле-еле, поднимался слабый дымок. Где-то вверху сияло солнце...»

Он рассказал этот сон сыну, художнику, надеясь: вдруг заинтересуется, вдруг — в самом деле — родится картина. Потом позвонил мне.

| Приговор

24 октября 90 г. Тема вины, обычная во время исповеди. Признание вины. Покаяние. Вроде бы именно это менее всего свойственно *й*. Но...

— Я сам подписал им приговор, — говорит он, рассказывая о смерти близких. — Сам. Сам!

Преувеличение? Не такое уж сильное, если следовать логике фактов. Вот уж полвека мысль *й* бьется в этом лабиринте. Безрезультатно. Он никогда так и не сможет распутать трагический клубок. «Как жутко, как логично это оказалось связано друг с другом — мой характер, мои поступки, события, не зависящие от меня. Наконец, их смерть...»

Итак, сороковой год. Советская власть открывает в Литве ворота тюрьмы для политзаключенных. Среди тех, кто получает волю, — Юозас Жямайтайтис. Простой парень, сапожник из Калварии. В тридцать первом он попался с прокламациями. Получил десять лет заключения. «А я, между прочим, был сочувствующим партии, активным мопристом, больше того — секретарем МОПРа в нашем городке. Моим заданием было каждый месяц собирать по десять литов и отдавать их потом сестре Жямайтайтиса. Она, купив продукты, отвозила посылки брату, в Каунасскую тюрьму. Между прочим, деньги я собирал даже с рабочих фабрики своего отца».

Вот так он и выжил, будущий партийный и советский работник Жямайтайтис.

— Когда его освободили, сестра Жямайтайтиса, встретив брата у ворот тюрьмы, привела его ко мне. В мою каунасскую комнатку. «Вот твой спаситель!» — «Очень приятно!» — «Мне тоже».

Они по-настоящему интересны друг другу. Говорят о многом и — откровенно. Жямайтайтис живет у *й* несколько суток. Потом уезжает в Калварию. «Он стал там одним из руководителей городка, кажется, первым секретарем райкома».

14 июня 1941 года. Черная дата. Многих жителей Литвы отправляют в ссылку и лагеря.

— В шесть утра мне позвонила мать: «Янкель, нас увозят в Сибирь! Если можешь, спаси!»

Я взял такси. В восемь утра уже был в Калварии. Сразу же — не к своим — в горком. Вхожу. Комната набита людьми с карабинами. Накурено так, что лица почти не видны. Я прохожу к Жямайтайтису. Он сидит за столом, энергично отдавая кому-то распоряжения. Хозяин! Увидев меня, побледнел: «Выйдите все!»

Диалог их недолог, но как много он решил!

«— Мою семью тоже в Сибирь?»

- Тебя я не трогаю.
- А мать, отец, сестры?
- Тебя я не трогаю.
- Что будет с моей семьей?
- Не знаю.
- Покажи списки.
- Вот они, лежат на столе.

Конечно, в списках есть и семья калварийского фабриканта Йосаде.

- Ничего не могу сделать, ничего».

Й выходит на улицу. Вскоре его догоняют: «Вернитесь. Вас ждет товарищ Жямайтайтис».

Теперь главная фраза. Она полвека звучит в ушах й:

- Возьми карандаш и сам вычеркни.

Взял. Вычеркнул. О чем потом много раз пожалел. Жямайтайтис подходит к нему, целует. Говорит, глядя куда-то в сторону: «Иди! И чтобы больше я тебя здесь не видел».

Спрашиваю й:

- И не виделись?

— Да нет — встретились в Шестнадцатой дивизии. Жямайтайтис был у нас около года, затем куда-то исчез. Я думал — погиб. Но случайно узнал: его перебросили в Литву.

После войны Жямайтайтис — «на первых ролях» в Мариямполье. Они столкнулись на каком-то торжественном заседании в Вильнюсе. Оба обрадовались. Да, конечно, надо посидеть, есть что вспомнить. «Это была последняя встреча. Говорят, Жямайтайтис спился, стал руководить каким-то подразделением коммунальной службы, вскоре — умер».

Одна деталь больше всего волнует й: «Почему он протянул мне карандаш? Я сам! Собственной рукой! Я подписал своей семье смертный приговор. В Сибири они, может быть, и выжили бы».

й пытается и здесь увидеть знак судьбы. Как прочитав этот символ? Он бьется над этим долгие годы. И конечно, не может расшифровать.

| Начало

Начинать в литературе всегда трудно. Начало редко связано с радостью, чаще — с горечью: бывают ошибки! Тогда следуют долгие годы поисков, разочарований. Порой автор так и не находит свой путь, прощается с искусством. А ведь талант был!

й начинал легко.

— Я посвятил свой первый фельетон (в ту пору так называли в газетах зарисовки быта и нравов) одной еврейской девушке. Она встречается на городском кладбище с парнем-литовцем; за влюбленными следят и однажды их ловят на «месте преступления». Банальный эпизод? Между прочим, такое случалось тогда редко. К тому же меня меньше всего интересовала внешняя, интригующая всех сторона события. Я хотел понять психологию — родителей девушки, ее подруг, соседей...

й отправил свой фельетон в Каунас, в известную еврейскую газету «Ди идише штиме». Она расходилась не только по Литве — по всей Европе.

Он набрался терпения. Стал ждать. Неожиданно для него ждать пришлось совсем недолго. Нет, письма из редакции не было. В первую же субботу, развернув, как всегда сдвоенный в этот день, номер газеты, й увидел свой фельетон.

— Редакция не изменила в моем тексте ни слова.

Городок гудел от пересудов. Действующих лиц узнали сразу, хотя их имена в фельетоне не были названы. Все гадали: кто автор? й подписался псевдонимом. Но разглядеть «бытописателя нравов» в гимназисте не смог никто.

Он стойко хранил свою тайну. Он жил уже будущими публикациями. Не сомневался: теперь, после шумного и успешного дебюта, станет одним из ведущих авторов газеты.

Конечно, *й* ошибся. Дальше все у него было, как у других. Как обычно: лавров мало — в основном тернии.

— Послав в редакцию свой второй рассказ, я получил ответ от самого Рубинштейна — знаменитого еврейского журналиста и редактора.

В письме было несколько фраз: «Печатать рассказ нельзя. Он еще сырой. Все же очевидно: у автора — острый взгляд».

й был в отчаянии. Но бросить писать уже не мог.

— Только спустя много лет я понял: Рубинштейн тогда не просто снисходительно похвалил меня — он в меня поверил.

Дебют *й* оказался удачным. Потому что он начал точно. С того, что потом волновало всю жизнь. Да, с «разгадки тайны». Его рассказы и повести, опубликованные перед Второй мировой войной в еврейских газетах, журналах, альманахах, — это в основном психологические портреты «маленького человека». Они — о «тайне», с которой мы рождаемся и потом уносим за собой в могилу.

Кстати. В том, самом первом фельетоне *й*, звучит уже главная тема его творчества последних лет. Любовь на фоне смерти, отношения евреев и литовцев...

| Между прочи_М

«Когда я попал в Шестнадцатую литовскую дивизию, она была еврейской едва ли не наполовину. А может, больше?»

В строю пели песни на идиш. И это была не какая-то самодеятельная инициатива — приказ командира: «Давай еврейскую песню!» Между прочим, песни на идиш подтягивали и литовцы.

Верующие евреи? А как же! Были. По утрам они молились. Хотя потом все равно ели из общего котла — не соблюдали принцип кошерности пищи.

В землянках висели стенгазеты на идиш. А как же!

К концу войны евреев стало гораздо меньше. Лучше сказать: совсем мало. Погибли!

Говорю я это, конечно, не ради спора с антисемитами: мол, воевали мы не под Ташкентом.

Просто вспомнились сегодняшней ночью лица убитых...» (ноябрь 90 г.)

| Фрагменты жизни

Время от времени *й* говорит о своем некрологе. Тот, кто будет писать этот некролог, не должен также забыть:

ЕГО ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК. «Сразу после войны я стал директором Вильнюсского филиала московского еврейского издательства «Эмес». Уже начали работать над несколькими книгами на идиш. И, конечно, как принято было тогда, над «Кратким курсом истории ВКП(б)». Ничего не вышло! Нам не выделили бумагу, необходимые шрифты... Мы обращались в ЦК, писали докладные записки... Обещали помочь, называли сроки... Все, однако, оставалось по-прежнему. Кто-то невидимый уверенно сдерживал, сознательно тормозил все начинания, связанные с возрождением еврейской культуры после войны... Наконец, я догадался: здесь нет случайности!»

* * *

«...Жили впроголодь. От отчаяния я пошел в завхозы! Работал в спецполиклинике: в моем ведении были столы, кровати, простыни. Вечером, придя домой, я не мог найти себе места. В тоске гадал: «Что будет со мной? С моими планами?»

Казалось, все кончено».

В 1948–59-м й работает в журнале «Пяргале». Сначала заведующим отделом критики, потом ответственным секретарем.

«...Между прочим, почти в каждой редакции был тогда «свой еврей»: ответственный секретарь, реже — заместитель редактора. Начальство менялось, шло на повышение — «редакционный еврей» оставался на своем месте. «Наверху» знали: так и должно быть. Еврей — трудолюбивый спец — обеспечивал порядок, преемственность в делах.

Это были признаваемые всеми «условия игры».

| Вариации на тему Витенберга

16 сентября 91 г. Четыре варианта его пьесы «Ицик Витенберг». Я читаю первый и последний. Совсем мало общего. Конечно, и там, и там есть реальная судьба руководителя подпольной организации Вильнюсского гетто. Есть абрис его жизни, героизм и трагедия: Витенберг, как известно, сам сдался в руки гестаповцам, иначе они грозили уничтожить гетто. На следующий день Витенберга нашли — мертвого, изувеченного — в тюремной камере. Говорят, он отравился, приняв цианистый калий, который ему передали с воли.

Первый вариант пьесы, 1946 год: типичное произведение социалистического реализма, типичный герой-руководитель из народа (Витенберг был сапожником), единение с массами, человек спокойно отдает жизнь во имя великой цели.

Последний вариант, 80-е годы: мучительные вопросы героя перед смертью, драматург рассматривает экзистенциальные коллизии, отчуждение человека, идущего на гибель, его последние, одинокие шаги в вечность.

Я не сомневаюсь: люди, знавшие Витенберга и занимающиеся при чтении взвешиванием «похож — не похож», вряд ли пришли в восторг

от пьесы *Й*. Тут важно понять жанр. Я бы определил его так: «Вариации на тему Витенберга».

Но почему и как *Й* изменил концепцию характера героя?

— ...Я сам в это время думал о смерти. Я легко представил себя на месте Витенберга. Сомнения. Поиски выхода: как поступить? Метания. Нет, с жизнью не так просто расстаться.

* * *

И еще, создавая последний вариант пьесы, он вспомнил, что в со-роковые годы уже распутывал клубок «загадок» Витенберга.

— Известно, что у Витенберга была семья. Но известно и другое. У него в гетто была любовница. После войны я случайно узнал: та женщина жива.

Она обитала в старом городе, на улице Траку. В маленькой комнатке коммунальной квартиры, на втором этаже.

Я нашел повод познакомиться. Дал понять, что увлекся ею. Нет, между нами, конечно, ничего не было. От тривиального романа меня удерживала недавняя женитьба — по любви. Мы много гуляли, порой заходили в кафе. Иногда, вечерами, она поила меня чаем. Я ненавязчиво задавал вопросы — о жизни в гетто, о Витенберге, о ней самой.

Родилась она в семье еврейского богача из Лодзи, в Вильнюс попала перед войной. Была она все еще молода, красива и, пожалуй, умна.

Свои записи тех бесед я сжег. Среди деталей, которые храню в памяти, — платье старухи. Его надел Витенберг, когда хотел убежать из гетто.

* * *

Развязка этой истории загадочна и неожиданна — как многое из того, что связано с Витенбергом. Однажды *Й*, придя к своей новой приятельнице, обнаружил: ее комната пуста. Любовница Витенберга исчезла. Видимо, все это время она тоже изучала *Й*.

| Еще одно объяснение с читателем

Сартр хотел создать биографию Флобера. Подробнейшую, на несколько тысяч страниц. Портрет писателя: поиски, замыслы, лаборатория, увлечения, идеологические влияния...

Спрашиваю себя: зачем же пишу я? Для чего вместе с *й* мы осуществляем этот эксперимент?

Пять лет — оторванные у его пьес лучшие дневные часы; долгие вечера, переходящие за полночь.

Пять лет. Теперь они в нескольких моих тетрадях, десятке магнитофонных кассет. Однако зачем?

* * *

Как ни странно, эти вопросы связаны с другим вопросом: *ч т о* я пишу? Однажды понимаю: это нечто большее, чем книга. Во всяком случае, цели «эстетические» сжимаются вдруг, кажутся чересчур мелкими. А «нечто» в моих тетрадях приобретает свою форму — рифмуется с чужим — разорванным — сознанием.

* * *

Впрочем, для меня очень важно, что это сознание еврейского интеллигента.

«О том, как гибла еврейская культура в СССР, напишут еще многократно, — думаю я. — Но точна ли будет эта история без истории жизни одного человека, одного творца, неважно даже — знаменитого или малоизвестного? Конечно, исследователи отметят аресты и расстрелы еврейских писателей, артистов, ученых; зафиксируют, как перестали выходить книги на идиш, как закрывались еврейские театры, газеты, школы, как появлялись антисемитские статьи, в которых каждое слово — точно удар кастетом... Но на страницах истории лишь промелькнут испуганные глаза; ночи, наполненные страхом;

пепел сожженных архивов. И еще — едва ли не главное — самоуничтожение таланта. Да! У того, кто хотел выжить в те годы, был и такой путь — саморазрушение своего дара. Талант оказывался опасным. Притом не только для тоталитарного общества — для самого творца. Как важно проследить этот процесс. Увидеть изнутри. А ведь *й* хочет говорить! Не собирается ничего утаивать. Не щадит себя...»

| Вход в лабиринт

О своих предательствах *й* поведал честно, ничуть не пытаясь оправдаться. Понимает ли *й*, что самое большое предательство он совершил по отношению к себе?

* * *

После войны переименовал имя. Был Яков. Стал Йокубас. Думал и писал по-еврейски, теперь — по-литовски. Даже дневник. Даже письма дочери в Израиль.

Может быть, он и сам не сразу заметил, как произошел этот поворот. Казалось, просто следует совету друзей:

— Говорите дома с женой по-литовски. Если, конечно, хотите овладеть этим языком.

Жена была поражена. Пробовала протестовать. Потом смирилась: все-таки цель была понятной, в сущности, утилитарной.

Как, однако, объяснить, что через некоторое время *й* сознательно лишил своих детей языка, на котором говорили их деды? Первые слова и Ася, и Иосиф произнесли по-литовски. Он захлопнул перед ними дверь в мир еврейства... «Хотел уберечь их от многих бед», — говорит *й*. (Между прочим, то же самое я слышал и от других еврейских писателей.) Признался: «Редко, совсем редко рассказывал детям о наших корнях, о Калварии, о боли, которая во мне самом не утихала никогда».

По сути, в наших беседах два главных сюжета: его саморазрушение; его возрождение как личности и творца (правда, последнее так до конца и не состоялось).

* * *

Почему он это сделал? Несколько раз *й* дает объяснение происшедшему. Я не удивляюсь тому, что эти объяснения разнятся. И в том и в другом — правда.

«Мой читатель лежал в Понарах, в смертных ямах по всей Литве. Я искал нового читателя. А он говорил по-литовски».

Самое точное объяснение, однако, иное: страх. Интуиция, удивительная интуиция *й* подсказала ему: скоро, совсем скоро начнутся новые преследования евреев. И, вероятнее всего, наступит конец еврейской культуры в СССР. Трезвый расчет продиктовал выход: он должен срочно стать литовским писателем. Потом, в письме к дочери, *й* заметит: «Я вовремя сбежал из еврейского края».

* * *

Еще бесспорнее свидетельствует о происшедшем давний, но — оказалось — не забытый семейный конфликт. Доктор Сидерайте рассказала мне, что никак не могла понять: зачем мужу нужно было обращаться в милицию, зачем он так хотел, чтобы его литовское имя обязательно внесли в паспорт?

| Несколько шагов в лабиринте

Свою первую рецензию в журнале «Пяргале» *й* пишет по-литовски...

— ...Но я быстро догадываюсь: получилось совсем не то, что хотел написать.

Вот тогда-то он продумает довольно сложный «технологический» процесс: первый вариант статьи должен быть на идиш, затем один знакомый журналист делает перевод на литовский (разумеется, за плату), затем *й* внимательно сравнивает оригинал с переводом — анализирует языковые конструкции, учится...

Так продолжается долго — несколько лет. *й* становится в это время известным в Литве литературным критиком. Наконец, постепенно, он отказывается от переводчика.

* * *

То, чего он добился за короткое время, не может не восхищать. Победа? Разумеется, поражение. *й* был обречен, но не понимал этого. Он надеялся, что сумеет перестроить, переделать себя. При этом *й* не хотел стать «средним» литовским писателем.

Между тем история литературы знает только два-три примера, когда художник слова «менял» язык и добивался подлинного успеха. Может быть, самый известный пример — Владимир Набоков. Его проза стала событием не только в русской, но и в американской литературе. Однако ведь Набоков свободно знал английский с раннего детства...

* * *

й всегда напряженно думает о своих отношениях с литовским языком. Должно быть, в старости понимает: чужой язык уже никогда не станет родным. Все же он надеется выйти из этого лабиринта: «Для чего тогда еврейская голова?»

Говорит многие годы подряд жене, а теперь мне:

— ...Есть литературные жанры, где язык не так важен. Это как раз те жанры, в которых работаю я: драма и литературная критика.

Я жалею *й*, молчу. Логика его рассуждений поверхностна. В самом деле, в пьесе на первый план выходит действие, в литературной критике — движение мысли... Но драма мертва без ярких диалогов. А все

логические построения статьи рассыпаются, если не скреплены лирическим, личностным пафосом автора. Ремесленник может написать драму или статью «средним» языком, Ибсен и Брандес — не могли.

Й любит порассуждать также о двух русских классиках, язык которых якобы небрежен, но которые от этого ничуть не становятся меньше, — о Толстом и Достоевском. Тут (поскольку речь о самом й впрямую не заходит) я резко спорю с ним. Цитирую ему свою давнюю книгу о писательском труде — «Беседы в дороге». Там есть страницы, посвященные «псевдонебрежностям» со словом — Толстого, Достоевского, Пушкина...

Лабиринт потому и лабиринт: он не имеет выхода. Й думает политовски, даже ведет по-литовски дневник. Но нет свободы, полета. И нет уверенности.

Отдает свои вещи редактировать литуанистам. Разрешает «переписывать» себя, если у редактора есть желание.

Он признается: пишет тяжело, медленно, будто ворочает глыбы. Только мыслит весело. «Придумывать пьесу — счастье, писать — каторга».

Может быть, это и есть его главная драма? Замыслы разбиваются, по-настоящему не воплощенные в языке.

| Бумеранг

12 августа 90 г. Дочь й, Ася, уехала в Израиль в семьдесят втором году...

Я смотрел сегодня на ее фотографию в кабинете отца — на стене, в простой металлической рамочке: обычная еврейская девушка, одета во все белое.

В тот год она окончила университет, работала программисткой. Однажды пришла к отцу, села напротив:

— Папа, я хочу тебя оторвать. Дело в том, что я уезжаю...

— Куда?

— В Израиль.

Он ответил спокойно:

— Это твое дело. А я никуда из Литвы не тронусь.

«Так и улетела. И уже почти двадцать лет там. И ни разу за эти годы не захотела взглянуть на родной дом».

Бумеранг.

И не произносит это слово. Но оно как бы за скобками его недоуменных вопросов. «Не могу понять, почему она уехала? Как возникла у Аси сама эта мысль? Ведь она была так далека от еврейства — когда росла, в семье нашей уже не звучала еврейская речь, у девочки не было еврейских подруг...»

Я не сомневаюсь, однако, что ему самому приходило в голову простое объяснение. Бумеранг.

* * *

2 сентября 95 г. Добавлю к этой записи: каждый из них — мать, отец, брат — в течение двадцати лет один раз видели Асю. Были, по очереди, в Израиле. А она приезжала прощаться с отцом. Приезжала трижды. Он угасает медленно.

| Воспоминание о пепле

Страхи *и* можно классифицировать. По периодам. По длительности. По причинам возникновения. По силе интенсивности страха, если можно так выразиться. (Я сознательно не стал обращаться к специальной литературе, чтобы мой дневник не напоминал записки студента-психиатра.)

* * *

— На войне, как многие люди, я не испытывал страха.

— Когда же он появился?

— Сразу после войны...

Это, конечно, не так. *Й* запомнил: страх был и раньше. Только после фронта усилился.

* * *

Первая его встреча с энкавэдистами — тоже во время войны (в эвакуации, после визита к врачу и посещения столовой). Встреча показалась сначала обыденной, а завершилась, в конце концов, трудовым лагерем, где *Й* чуть не погиб. Но, рассказывая, *Й* вспоминает не это.

Свою досаду — «борщ так и не доел!».

Свое безоговорочное подчинение очередному «человеку в черном»: «А я ведь даже не знал, кто он такой».

* * *

Вторая встреча с энкавэдистами — уже после фронта, в Вильнюсе.

Однажды *Й* вызывают в горком партии, но там — в коридоре — его встречает посыльный:

— С вами хотят поговорить. Нет, не здесь — пойдете, я отведу вас.

Й, вспоминая об этом, стремится, как всегда, быть честным перед собой. Удивляется: ему очень понравился сотрудник органов. Ласковые глаза, теплые белые руки, искренний интерес к еврейским писателям: что они за люди, как устроен их быт, в чем нуждаются?

* * *

Заметил ли *Й*, что все люди этой «стаи» похожи друг на друга?

Не сомневаюсь: заметил. Иначе как бы узнавал их, когда они приходили в редакцию «Пяргале»? Не представившись, смело открывали дверь в кабинет главного редактора.

И опять пытается понять себя. Как же так? Его никто не предупреждал заранее, никто ни о чем не просил. Тем не менее он знал: во время этих визитов в кабинет главного нельзя никого пропускать...

* * *

Следующая встреча на явочной квартире проходит более жестко, по-деловому, без сантиментов... И дают понять: он теперь свой, почти сотрудник... Собеседника И интересует уже не быт, не биографии еврейских писателей — идеологические характеристики.

— Поэт Ошерович. Он ведь, кажется, еще недавно был сионистом?

— Поэт Суцкевер. Верно ли, что он не признает партийность литературы?

И уклоняется от ответов. Особенно его коробит финал разговора: нужно дать подписку, что никто не узнает об этой встрече. «Как? Почему?» — «Так будет лучше — для вас». Добрые глаза становятся строгими: это приказ.

* * *

И не любит рассуждать о морали. Но именно тогда, в конце сороковых, он устанавливает для себя некий барьер. Он говорит себе твердо: «Больше сюда не пойду!» Придумывает причину: «Недавно женился. Я обещал обо всем рассказывать жене». Причина банальна — в сущности, отговорка. Так пытались говорить с КГБ многие. Но важны не слова. Важна его решимость.

* * *

И никого тогда не предал, не сломал ничьей судьбы. Ему повезло. Но понимает ли он это? Я спрашиваю И, выключив магнитофон (чтобы никак не смущать). Попутно рассказываю историю старого писателя Сергея Снегова. Он много лет провел в норильском лагере, во время следствия не согласился ни с одним из обвинений. Мы часто встре-

чались с Сергеем Александровичем в восьмидесятые годы. Он всегда подчеркивал: «Мне повезло. Меня почти не пытали». *И* соглашается: «Мне повезло тоже...»

* * *

Я отбираю записи, связанные со страхами *И*. Однако понимаю: полностью это намерение выполнить невозможно. Большие периоды жизни *И* прошли только под знаком страха. Вот, к примеру, десять послевоенных лет: борьба с «космополитами», с «убийцами в белых халатах», ожидание репрессий после смерти Сталина...

* * *

20 ноября 91 г. ...Интересно, как он погружается в минувшее. Будто погружается в холодную реку — сразу, резко. Сначала трудно, а потом привыкаешь к холоду. И вот он живет в том времени. И снова мечется в поисках выхода из тупика.

«...Теперь я уже не помню, как звали эту девочку, нашу домработницу, — помню только: ей было лет девятнадцать-двадцать. Помню также: когда она пришла наниматься на работу, сразу сказал жене: «Ее надо принять». Она была хорошенькой... («Да, да, — не скрывает он от меня, и пленка фиксирует его откровенность, — были и такие варианты тоже, я не мог отказаться от этого...»). Она прожила у нас считанные дни. Ее арестовали ночью, я сам выходил открывать дверь. Потом мы узнали от приятельницы моей жены, рекомендовавшей нам эту домработницу: девушку взяли за то, что сбежала из своей деревни, когда всю ее семью отправляли в Сибирь... Вот моя первая мысль, едва они ушли: а что, если бы энкавэдист открыл дверцу шкафа — да, шкаф уже стоял здесь, на этом самом месте, — если бы он увидел папки с моими записями, с дневником? Страшно! Ведь в дневнике у меня были такие трэфные вещи! Антисоветские, понимаете? Я заносил туда то, что не

мог сказать никому. То, что наблюдал в жизни. На сегодняшний взгляд, ничего необычного. Большие очереди. Блат. Партийная бюрократия. Трагические перемены, происходящие в еврейской культуре.

— ...Но дух ваших статей в то же время был иным?

— А в дневнике писал правду!

— Вы как-то говорили мне, что и то и другое было искренним.

— И то и другое... Свои статьи я оправдывал тем, что они написаны во имя утверждения коммунизма.

...Так вот, я подумал: дневник хранить опасно. Его надо спрятать или ликвидировать. Спрятать — где? Понимаю: нигде не спрячешь! Если захотят, найдут, все равно найдут. Гаража у меня тогда не было, да это был бы и банальный, легко разгадываемый ход. Может, отдать кому-нибудь? Но никому не мог я довериться. Даже жене. Она чересчур наивна. И к тому же было ощущение: не нужны мне сейчас еврейский язык, еврейские беды. Это уже пройденный этап. Я ведь теперь литовский писатель. Надо ликвидировать следы моего прошлого! Эта мысль приходила ко мне все чаще и чаще. Она показалась бесспорной после ареста моего друга, поэта Гирша Ошеровича. Однако как ликвидировать прошлое? Просто выкинуть бумаги в мусорную яму? Кто-нибудь обязательно заметит.

— ...Вы вели дневники в тетрадах?

— В тетрадах. Но не только.

— И много было этих записей?

— Много, много — несколько папок. К тому же выкинуть надо было не одни дневники.

Еврейские книги! Например, сочинения историка Семена Дубнова. Он ведь «буржуазный ученый, националист» — это трэфно. Или Перец Маркиш. Еще недавно считался выдающимся советским поэтом. Но теперь уже арестован — значит, тоже трэфно. Все еврейские книги, изданные за границей, — трэфны. И за все это меня

могут арестовать. Да, да, только за хранение. Значит, надо все это ликвидировать — почти всю свою библиотеку или, по крайней мере, большую ее часть.

Как это сделать? Казалось, самое логичное — сжечь. Вот здесь, на этом месте, стояла печь. В других комнатах — еще три, в кухне — большая плита. Топили мы тогда дровами и торфом. Вроде бы просто: успевай подкладывать в печь книги. Да ведь увидит та же домработница!

Словом, я решаю сжигать бумаги постепенно, ночами, когда все лягут спать. Делать это буду в своем кабинете каждую ночь, в течение нескольких недель. Однако снова препятствие: печами занимается домработница; утром, вытаскивая золу, она обязательно обнаружит следы моих ночных дел. Известно: пепел от сожженной бумаги можно различить сразу.

Что делать? Я нахожу выход. Каждое утро посылаю домработницу в магазин за какими-нибудь покупками, а в это время выношу ведро с пеплом...

Впрочем, главные мои мучения были в другом. Я жег ночами свои рукописи, дневники, книги и — плакал. Рассматривая каждую бумажку, говорил себе: «Это часть твоей души». Держа в руках книги того же Дубнова или гениального Бялика, я вспоминал, что вырос, читая и перечитывая их. Хорошо помню те свои слезы и свой страх. Признаюсь: то были самые черные мои дни и ночи.

Однажды я машинально протянул руку за очередной книгой, чтобы отдать ее пламени, и — вздрогнул. Это была Тора. Книгу подарил мне Ошеревич в сорок шестом или сорок седьмом году. В день моего рождения. На первой странице — его дарственная надпись. Со мной случилась истерика... Хотя нет — я все же контролировал себя, сдерживал рыдания. Боялся: услышат жена или домработница.

Эту книгу я сжечь не мог. Вот она, видите? Не хватает только той, самой первой страницы с дарственной надписью, ее-то я и бросил в огонь. А Тору отнес в другую комнату — засунул в шкаф, где висели вещи жены, — в самый дальний угол...

Все это продолжалось довольно долго. Сколько? Не помню точно. Стояла зима. Сильные морозы. Печи топили часто. И бумажный пепел — от сожженных книг и рукописей — я тогда постоянно видел на снегу. Потом узнал: еврейские книги сжигали многие».

| СНЫ

9 ноября 94 г. Страхи, как всегда, приходят к *й* во сне: сознание отключается, он перестает контролировать себя.

Вот один из недавних его снов:

«В комнату входит какой-то человек — молодой, симпатичный. В руке он держит шприц. Вокруг — много людей, однако юноша направляется прямо ко мне:

— Давай руку!

Пытаюсь понять его.

— Зачем?

Говорю спокойно, но сам дрожу от страха.

Он улыбается — видимо, понимает мое состояние.

— Так надо.

— Нет, нет!

Я кричу — буквально, не своим голосом.

Он настаивает:

— Да, да!

Кровь стынет у меня в жилах. По-моему, я раньше никогда не испытывал такого. Из последних сил снова кричу:

— Люди, спасите!

Но никто не обращает на меня внимания, даже не смотрит в мою сторону.

Между тем незнакомец подходит все ближе. Я оглядываюсь: куда бы спрятаться? Он предупреждает, уже без улыбки:

— Все равно от меня не уйдешь.

И вот я стою в углу комнаты, отступать некуда. Слышу жесткий приказ:

— Ну, давай руку!

Я снова пытаюсь говорить по-хорошему, умоляю его... Молодой человек меняет тон. Объясняет: укол необходим, он поможет мне, спасет. И вдруг я чувствую: он прав. И легко подчиняюсь ему, протягиваю руку».

Здесь, однако, он проснется. Весь мокрый от пота. Слышит стук своего сердца. Торопливо берет лекарство. Лежит и думает: «Надо записать этот сон». Но сил нет. Он рассказывает мне этот сон по телефону. Это было позавчера.

| Голоса на развалинах

В сущности, *й* стал прощаться с жизнью гораздо раньше, чем это кажется ему сейчас.

* * *

Он приехал в освобожденный от немцев Вильнюс летом сорок четвертого. Среди самых первых. Что врезалось в память? Гетто! Еврейские кварталы старого города превратились в руины. Жизнь оборвалась там внезапно, точно на полуслове — ему все время казалось: руины еще могут заговорить.

й отправлялся туда каждый день. Чаще всего один, но, случалось, — вместе с другими еврейскими интеллигентами. Одни, как и он, вернулись с фронта, другие — из эвакуации или из «партизанки». Кто-то

вышел из «малин» (тайных укрытий) — здесь же, в Литве. У каждого из них была своя судьба и своя дорога. Но все они еще верили тогда: после войны возродится еврейская культура.

— Результаты наших «экспедиций»? Старые книги... рукописи... фотографии... обрывки документов, дневников... латы со «звездами Давида», которые во время оккупации должны были носить евреи... Все это валялось на чердаках, в подвалах, просто на земле. Все это вошло в экспозицию созданного вскоре, но уже в сорок девятом году закрытого советской властью еврейского музея в Вильнюсе.

...Однако чаще всего он шел в гетто один. Неведомая сила тянула его туда. Кругом — развалины. *Й* ходил среди них словно пьяный. Садился на камни, балки разрушенных домов. Иногда он говорил с развалинами.

Что он там хотел найти еще? Какие голоса надеялся услышать?

Скорее всего — *й* представлял в гетто себя.

* * *

«Такое состояние — да, буквально такое же — я пережил потом только раз. Тогда, когда освободили Калварию.

Я приехал в родной городок на военном грузовике, который остановил по дороге: меня подобрала, потому что я был в форме — еще не демобилизован. Ночевал у знакомых. А днем бродил и бродил по улицам. Шел за город. И опять, как в Вильнюсе, вроде бы ни о чем не думал. Но уйти, уехать отсюда не мог».

Встречался ли он с теми евреями, которые спаслись, выжили? «Да, да, конечно». Записывал ли их рассказы? «Нет. Ну, что вы! Не мог». А что запомнилось *й* в свидетельствах очевидцев — литовцев, поляков, русских?

— Один мотив, который я слышу и теперь. Все, кого я встречал в Калварии, во всяком случае большинство из них, — ничего не видели... «Я уезжал», «я болел», «как раз в эти дни был очень занят»...

И слушал их. Но слышал в это время другие шаги на тех же мостовых — шаги бабушки и матери, отца и сестер.

| Лицо смерти

2 января 91 г. Болезнен ли интерес к феномену смерти? По-моему, интерес этот закономерен, если, конечно, думать о жизни и смерти всерьез.

* * *

...Почти никуда не выходя из дома в последние годы, И просит меня, когда я возвращаюсь с чьих-либо похорон, рассказывать — в деталях, подробностях: долго ли болел покойный; как встретил смерть; кто и что говорил на кладбище.

Смерть для И — лакмусовая бумажка, проявляющая суть жизни. Тут, впрочем, он не оригинален.

* * *

УТРЕННИЙ ЧАЙ. Старая истина: между жизнью и смертью нет никакого противоречия, точнее — это противоречие мнимо.

— Знаете, в чем сложность? — уточняет И. — Сегодня я легко понимаю эту истину, она для меня — дважды два равняется четырем. А вот завтра попью чаю, выйду на солнышко и — сразу все забуду. И опять придут иллюзии. И буду обманывать сам себя. (3 сентября 94 г.)

* * *

СИТУАЦИЯ И ВПРЯМЬ ПО ОРУЭЛЛУ! В какой степени ограничена свобода человека, живущего в тоталитарном обществе? Он не смеет распорядиться даже собственными похоронами...

Говорим о смерти Е.Я. Тут-то *й* вымолвит:

— Сколько же передумал я над тем, где лежать мне в могиле! Шли пятидесятые годы. В сущности, выбор отсутствовал. Я знал: похоронами будет распоряжаться специальная комиссия Союза писателей. Как решит, так и сделают. А мне хотелось хотя бы здесь настоять на своем. Вот и написал записку: хочу, мол, чтоб похоронили на родине, в Калварии. В этом уж наверняка «пошли бы навстречу». А потом — другие времена. Не умер. И свою записку я разорвал... (9 ноября 94 г.)

* * *

КАК ЖИВЕТ В ЕГО ПАМЯТИ УБИТЫЙ ИМ ЧЕЛОВЕК? Переписываю с пленки (почти без сокращений) рассказ *й* (28 октября 90 г.):

«Июль сорок третьего... Наступление на Курской дуге. Небо похоже на раскаленное железо. Атака немцев. Я стреляю из автомата и впервые вижу человека, о котором точно могу сказать: я его убил... Тот немец кажется мне огромным, почти великаном. Ведь я лежу в окопе, а он возникает откуда-то сверху, почти с неба...

И вот темнеет. Перестрелка смолкает. По-видимому, атаки до утра не будет.

Походная кухня. Ужин. Очень красивое черное небо. Кажется, я один не могу успокоиться. Все гляжу на бугорок, хорошо заметный из окопа. Бугорок — это он. Убитый мной немец. Понимаю, что я не успокоюсь, пока не вылезу из окопа, пока не проползу под редкими пулями эти десять метров. Пока не увижу снова его лицо.

Сколько прошло времени? Двадцать минут? Полчаса? Час? Я приползаю к нему на четвереньках. Немец уже разлагается — стоит страшная жара. Я проверяю его карманы. Документов нет — их, как всегда во время атаки, забрали товарищи убитого. Однако я нахожу письмо.

Я прочел его утром, едва рассвело. Я ведь понимаю по-немецки. Обратный адрес: Вена. Обычное письмо жены солдата: «Люблю. Ты — мое единственное счастье. Я и дети ждем тебя в отпуск».

Там была и фотография: красивый, рослый светловолосый парень, молодая, пышущая здоровьем женщина, трое маленьких детишек.

— ...Убитый немец был старше вас?

— Скорей — младше. А еще точнее — мы были одногодками.

...Казалось, я загнипнотизирован. Каждые пятнадцать–двадцать минут доставал снимок. Всмотривался. «Я убил человека. Я!» Эта мысль преследовала меня постоянно. Как и его лицо.

После войны я поставил фотографию на свой письменный стол. Зачем? Чтобы не поддаваться соблазну забыть».

* * *

Эту историю *й* расскажет не только мне (он размышляет о том же в письме к дочери). Но почему *й* промолчал там о другой смерти, которая так поразила его на фронте?

Очевидно, сработал внутренний цензор. Ведь в первом случае *й* рассказывал об убийстве немца, в центре второго эпизода — гибель советского солдата.

На моей магнитофонной пленке этот рассказ есть:

«...Там же, на Курской дуге, во время одного из боев пал наш командир взвода. Я не помню сейчас его фамилию, хотя знал его хорошо. Еще до войны.

В Каунасе в дни моей молодости был необычный кинотеатр. Там демонстрировались только советские фильмы. На контроле всегда стоял молодой красивый парень. Меня как журналиста он пропускал в кинотеатр без денег и даже усаживал на хорошее место. Ведь я мог написать рецензию! А это привлечет зрителей. Среди фильмов, которые я посмотрел там, помню «Путевку в жизнь». Я был в восторге. Этот фильм повлиял на мое мирозерцание... Но вернусь к пареньку

из кинотеатра. Думаю, он был коммунистом-подпольщиком. Словом, я не удивился, когда встретил его в Шестнадцатой дивизии. Он был младшим лейтенантом, командиром взвода, общим любимцем.

В том бою пуля настигла его сразу.

Было десять или одиннадцать часов утра. Вынести своего командира мы никак не могли. И он лежал поперек окопа. И мы все перешагивали через него, когда — бегом — носили боеприпасы...

Как передать эти подробности? Трудно. Мы старались быть осторожными, старались перешагнуть аккуратно. Но... Идет бой. Свистят пули. И вот кто-то забывает про осторожность. Вот уже раздавлена рука нашего командира, потом — нога... Повторяю, мы не могли его унести, не могли и выбросить из окопа. В конце дня тело превратилось в расплющенный блин.

Я смотрел на товарищей: хотел понять их реакцию. Но все они думали только об одном: надо отбить атаку. В конце концов, вообще перестали замечать тело лейтенанта. Что же касается меня, то я делал этот шаг с трудом. Однако ведь делал же! Переступить уже было невозможно — только наступить...

Признаюсь, для меня это была психологическая травма. Такая тяжелая, что последствия ее ощущаю до сих пор. Признаюсь: после этого я не мог стрелять, точнее — стрелял в воздух. Понимал: поступаю скверно, передо мной — враг. Однако не мог иначе. Никак. Не знаю, чем бы это кончилось для меня. Наверное, кончилось бы ужасно. Но двадцатого августа я был ранен, меня вынесли с передовой. На фронт я уже не вернулся».

С тех пор он не носит медали и ордена. Не отмечает 9 Мая («Для меня это не праздник»). И не любит читать военную прозу. «Я нигде не встречал свою правду о фронте. Может быть, эта правда есть на нескольких страницах Ремарка, Хемингуэя...»

* * *

й, конечно, не зря вспомнил Хемингуэя. Того мучила тема смерти, точнее — насильственной смерти. Он считал: каждому мужчине полезно пережить авиакатастрофу.

* * *

Как связаны со смертью страхи й?

| СчастливиК

— Почему вы все-таки уцелели?

Я задаю этот вопрос не только й — вообще всем евреям, у которых беру интервью и которые пережили страшное лихолетье: гетто, концлагерь, фронт, убежища в христианских домах, депортацию в Сибирь, борьбу с космополитами, «дело врачей», преследование только за то, что человек изъявил желание выехать в Израиль.

«ПОЧЕМУ ВЫ УЦЕЛЕЛИ?» В глубине души я всегда надеюсь: сейчас мне откроется вдруг некая закономерность, простая, но скрытая от меня до поры до времени тайна жизни.

* * *

...Очертания этой тайны становятся ясными для й в старости. А в юности, в молодости он только догадывается: «Я — везунчик, кто-то или что-то оберегает меня».

* * *

«...Я понял это на фронте. Наша рота состояла из ста двадцати восьми человек. Вы запомнили эту цифру? Сто двадцать четыре были убиты или тяжело ранены. Я же получил лишь легкое ранение в руку. Вся наша рота знала: Йосаде — везучий. А многие думали: и отважный. Но я не был отважным, хотя меня даже наградили медалью «За отвагу». Я был именно везучим.

Расскажу такой случай. Весной сорок третьего мы должны были перебежать через овраг, который простреливался немцами. Когда подошли к этому оврагу, командир спрашивает: «Кто пойдет первым?» Сразу выкрикиваю: «Я!» Нет, это нельзя назвать смелостью. Просто я быстро, что называется моментально, ориентируюсь. В данном случае сообразил: немец вначале не успеет пристреляться, а я уже перебегу овраг.

Командир говорит: «Давай!»

Делаю шаг вперед, но в этот миг меня кто-то отбрасывает назад.

За мной стоит высокий худой парень: «Нет! Пойду я». Его логика состояла в другом: раз Йосаде вызвался первым, значит, опасности нет; Йосаде, как известно, везучий.

Командир опять соглашается: «Иди!»

Что было дальше? Первая же пуля нашла того парня и оказалась смертельной. А я? Я действительно был везучим».

* * *

«Еще о везучести.

— Когда началась война, я бежал из Каунаса с двумя своими близкими друзьями. Одним был уже известный тогда поэт Гирш Ошерович, другим — мой лучший приятель по Калварии — Мойше Аеров, остроумный, добрый, на редкость талантливый — в это время он тоже уже нашел свое призвание, был доцентом, преподавал химию в университете. Потом Ошерович отстал от нас, а мы с Мойше дошли пешком до Двинска.

И вот происходит то, ради чего я и начал этот рассказ. Сидим мы на вокзале в Двинске, видим два поезда — оба идут на Восток. Поезда как поезда, только в одном — много молодежи, слышны звуки гармоники, песни. Какой эшелон выбрать? Поверьте, за все время нашей дружбы мы никогда с Мойше не ссорились. А тут между нами — конфликт. Он говорит: «Сядем в тот поезд, где молодежь». Я стою на своем:

«Нет! Пойдем в другой!» Так ни до чего и не договорились. Посадка. Суматоха страшная. Так и сели в разные поезда. Между прочим, я при посадке потерял все свои вещи.

Мой поезд благополучно дошел до станции назначения, а его эшелон по дороге разбомбили. Мойше под бомбами уцелел. Он остался в Минске, попал в гетто.

Он умер от голода уже перед самым приходом советской армии.

Почему я так стремился именно в тот поезд? Я и сейчас не могу это объяснить».

* * *

— Часто ли в вашей жизни повторялось подобное везение?

— В том-то и дело — часто!

Как и во многих людях, в *й* тоже сосуществует несовместимое. Постоянное ощущение жизненного тупика и... ощущение везения.

Спрашиваю потом (уже себя): так в чем ему все-таки везло? Спасся при эвакуации, не погиб на фронте, не был арестован, не умер от инфарктов... Что ж, не так и мало!

* * *

ПОЧЕМУ СУДЬБА БЕРЕЖЕТ ЕГО? Мне неловко цитировать *й* слова В.В. Розанова: «Судьба б е р е ж е т тех, кого она лишает славы». Мысль В.В. Розанова логично требует продолжения. Человек, к которому пришла слава, чаще всего осуществил собственное предназначение. Судьба же бережет тех, кто еще должен выполнить свою миссию на земле.

Предназначение. *й* всегда ощущал его. Но никак не мог понять — в чем же оно? Потом понял: надо написать цикл пьес о евреях Литвы. Не по этой ли причине суждена ему долгая старость?

| Без названия

Его отношения с Богом неопределенны. Почему мы говорим об этих отношениях? Три причины: его прощание с жизнью; тема рока, волнующая *й*; Бог и Катастрофа евреев.

И еще вот эта его убежденность: «Бог меня бережет!»

* * *

«...В нашем доме не соблюдались традиции иудаизма. Единственное исключение: мама готовила кошерные блюда. Отец бывал в синагоге по большим праздникам, жертвовал тогда изрядные деньги и, наверное, считал: этим свой долг перед Богом выполнил. Отец не носил бороду. В Шабат курил. В субботу утром отправлялся на фабрику (она отдыхала по воскресеньям)».

* * *

«...В юности религия не была чужда моей душе. Но мои интересы были связаны с другим — с философией, литературой, эстетикой. Потом, увлекшись социалистическими идеями, я стал атеистом. Рассуждал: «Что такое Бог, никто не знает. Зато здесь, на Земле, совершенно реальна несправедливость». Высшей ценностью мира я считал гармонию, красоту. Однако никак не связывал их с существованием Бога».

* * *

«Я приблизился к Богу после войны. Вдруг ясно почувствовал: мой путь и мою жизнь кто-то направляет...»

* * *

...Опять противоречие? *й* сам считает, что его корни — в иудаизме, но его настоящее связано с христианством. Подчеркивает: скульптура

Иисуса Христа в его кабинете не случайна: «Это важный для меня акцент!»

Иудаизм для й — «начало начал», основы мирозерцания. То, от чего он уходил и... так никуда не ушел. Однако же он полвека работает в литовской культуре. «Я европеец. А христианство — высшая духовная точка нашей цивилизации».

Взаимоисключающие начала снова легко примиряются в его душе.

* * *

«Я давно понял: Бог не похож на существо, которое, взвешивая плохие и хорошие наши поступки, каждому воздает потом по заслугам. Справедливость Бога в чем-то другом... Все гораздо сложнее».

* * *

«Да, Бог — это справедливость. Но ведь справедливость люди понимали и понимают по-разному — три тысячи лет назад, две тысячи лет и — сейчас... Тогда что же такое Бог?»

* * *

«По отношению ко мне Бог всегда был добр. Во время болезни я слышал его голос: “Знаешь, Йосаде, раз твои самые близкие родственники — пятнадцать человек — погибли, значит, ты должен жить”».

* * *

Из-за характера й, его вечного «экспериментаторства» ему трудно принять такую простую для верующего еврея истину: отношения с Богом ясны, если ты не лукавишь, если помнишь, что все твои мысли, желания, слова записываются навсегда в Книгу...

* * *

Иногда мне кажется: зная мой интерес к религии, он говорит со мной о Боге как бы из вежливости. Сказал ему об этом, добавив:

— Иудаизм вовсе не против того, чтобы человек сомневался в Боге...

— Вот-вот! Это и есть мое состояние!

Но в конце жизни невысказанный атеизм *й* тает. Замечаю у него разное: иногда страх, иногда благоговение перед Богом, чаще всего — смирение.

* * *

...«Господи, спасибо Тебе за то, что хотя бы через окно Ты еще разрешаешь мне видеть небо и землю...»

| История одного замысла

Чтобы «разговорить» *й*, я произношу пространную речь о подлинной истории советской литературы, какой она видится мне сейчас. Вот некоторые фразы из этой речи:

— ...Сколько книг не увидело света под влиянием страха... Огромная библиотека!.. А сколько книг вообще не появилось по той же причине... Страх перед системой диктатуры заставлял литератора облекать в образы чуждые ему идеи... Цепочка, фантасмагорический круговорот: книга писателя формировала «нового читателя» — разумеется, в нужном Системе духе; «новый читатель» в свою очередь предъявлял творцу новые требования... Что происходило, таким образом, под влиянием страха? Банализация литературы, которая росла, как снежный ком.

* * *

й встает, подходит к шкафу, где хранится его архив:

— ...А я писал тогда повесть «Бдительность». Писал по-еврейски, с декабря пятьдесят второго по март пятьдесят третьего года.

«Как родился замысел? Я помню, в газетах замелькали тогда статьи о врачах-вредителях. У меня журналистский нюх. Читая эти статьи, понял: кампания только набирает силу. Росла и моя тревога.

Как раз в это самое время ко мне в редакцию «Пяргале» пришли однажды трое. Представились:

— Мы из горкома партии, хотим поговорить с вами.

Двое из них русские, а один, между прочим, — еврей. Их предложение меня удивило:

— Товарищ Йосаде, мы знаем вас как талантливого литературного критика, активного редакционного работника. Словом, на наш взгляд, вы должны быть в рядах партии.

Я опешил. Потом вдруг представил, что могут сказать мне они же — только через несколько месяцев: «Космополит, вредитель, пробрался в партию, чтобы разложить ее изнутри».

Разумеется, говорю совсем иное, прямо противоположное своим мыслям:

— Это замечательно. Я всегда мечтал о том же, но не решался... Вдруг не достоин? Благодарю вас за то, что вы сами обратились ко мне.

Немного помолчал. И — чуть в другом тоне:

— А у вас есть с собой анкеты?

— Конечно! — один из них тут же вынимает анкеты, кладет на стол.

— Хорошо. Я потом заполню.

— Зачем же откладывать такое важное дело?

— Но ведь мне нужны и рекомендации.

— Рекомендации, конечно, будут.

Меня всегда спасал и спасает юмор. Говорю:

— Наскоро ничего в жизни делать не могу. Знаете анекдот? «Я один раз сделал это на скорую руку и до сих пор плачу сорок рублей в месяц. Алименты».

Они, все трое, засмеялись — мужской анекдот:

— Ну, если так, вернемся к этому вопросу через несколько дней.

Ушли. А я чувствую — приперт в угол. Не ем, не сплю. Что делать? Не знаю. Жене, ясно, ни о чем не рассказываю. Она в таких случаях сразу теряется. Как же выйти из тупика? Может быть, куда-то уехать, сбежать?

Думал-думал и решил посоветоваться обо всем с Александрасом Гудайтисом-Гузявичюсом. Здесь надо кое-что объяснить. Меня связывали особые отношения с этим литовским писателем, в недавнем еще прошлом — наркомом госбезопасности. Я когда-то написал большую статью о первом его романе «Правда кузнеца Игнотаса». Статья эта, мне кажется, помогла Гузявичюсу войти в литературу. Автор теперь пожинал лавры, взошел на литературный олимп. Совсем недавно, в пятьдесят первом, роман был удостоен Сталинской премии третьей степени. Правда, Гузявичюс не был уже наркомом госбезопасности, но все равно, не сомневался я, он хорошо информирован, сможет дать мне толковый совет. (Кстати. Как, каким образом, почему Гудайтис-Гузявичюс ушел из этой системы? Не знаю. Оттуда ведь просто так не уходили. Может, ему помог Снечкус? Сказал где-то наверху: «Гузявичюс — большой писатель, создал эпопею. Надо дать ему возможность для дальнейшей литературной работы». Может, и сам он сообразил: нужно уйти вовремя... А может быть, писательское дело и впрямь было для Гузявичюса важнее всего?)

Словом, звоню ему.

— А, Йосаде! Обязательно приходи на ужин. И непременно — с женой.

— Если можно, приду один. Сейчас публикуется ваш роман «Братья», я хочу поговорить о нем, а потом написать.

— Ну, как знаешь.

И вот вечер. Жена Гузявичюса — молодая, моложе его лет на двадцать или тридцать; она, кстати, дочь основателя литовской компартии Капсукаса — сервирует ужин. Но прежде чем сесть за стол, Гузявичюс вспомнит:

— А ведь я тебе еще не подарил переиздание моего первого романа.

(Между прочим, он мне говорил «ты», а я ему «вы», хотя мы были почти ровесники: Гузявичюс — на три года старше).

Отвечаю:

— Буду рад получить от вас книгу с дарственной надписью.

Однако, услышав мои слова, Гузявичюс вдруг задумался. Я потом пытался представить эти его мысли: «Йосаде — еврей, космополит, завтра его арестуют и найдут книгу с моей дедикацией, а ведь я — бывший нарком госбезопасности; может быть, даже специально меня сейчас проверяют...»

Передо мной разыгралась сцена, сама по себе достойная описания.

Гузявичюс поднимается с кресла, идет к шкафу. Но потом возвращается к столу, о чем-то рассказывает мне... Через десять–пятнадцать минут снова направляется к шкафу, открывает дверцы, стоит. Явно растерян. Наверное, рассуждает так: «Дело не только в дедикации, моей подписи, но и в дате. Да, это очень важно — дата! Что если кто-то начнет высчитывать: в какое именно время Гузявичюс решил поддержать космополита Йосаде?»

Я был наивен. Только когда он во второй раз подошел к шкафу, сообразил: Гузявичюса что-то тревожит. Напомнил про книгу. И вот он все-таки берет один экземпляр из стопки и... говорит жене:

— Знаешь, дорогая, пусть это будет сюрприз супруге Йосаде — сделай ей дарственную надпись!

Вы понимаете, куда он хитро клонил? Но она, капризная красавица, не поняла, в чем дело. Отвечает:

— Я твоя жена, а не секретарша. Подписывай сам!

Что ж, он вынужден взять ручку, пишет: «Товарищу Йосаде — благодарный автор. Гудайтис-Гузявичюс. 6.12.52 г.»

Потом мы ужинали, о чем-то говорили... Но я уже понял: советовать с Гузявичюсом о своих сомнениях — бесполезно.

А потом я ухожу от Гузявичюса. Убитый! Если уж он боится, если уж он дрожит — что делать мне?

Выхожу на улицу. Иду куда глаза глядят. Город тонет в темноте, все шторы опущены, все ворота закрыты. И лишь один дом — целый квартал — в огнях. Это здание Госбезопасности. Зловещая картина...

Я стою на противоположной стороне улицы, смотрю на окна, за которыми идет страшная работа. Думаю: «Вот он, пришел твой конец!»

Что я делаю дальше? Представьте себе — бегу. Бегу домой, в свой кабинет. Уже поздно. Все спят. А мои мысли все о том же: «Как спастись?» Понимаю: сейчас я еще могу сделать последнюю попытку — другой не будет. Мысли работают лихорадочно. И вот я достаю бумагу, начинаю писать.

Я начинаю работать, не имея четкого плана, не зная сюжета будущей книги. Это будет роман или повесть. Моя фантазия разгорается. Я вижу Клайпеду, верфи, где стоят суда. А вот и мой герой: инженер, еврей-сионист. Он ведет какую-то подпольную, в прямом смысле подрывную работу — хочет взорвать эту верфь.

Трагедия? Здесь, однако, и мое возможное спасение. Если меня придут арестовывать, энкавэдисты сразу найдут на моем столе эту рукопись. Изучат. Скажут: «Наш человек». Пусть книга еще не будет закончена, пусть успею сделать только шестьдесят или восемьдесят

страниц, но патриотический замысел автора, развитие сюжета уже ясны.

Словом, писал я на редкость легко. Конечно! Ведь каждая страница приближала мое спасение.

Рукопись и сейчас лежит в моем архиве. Я не только не выкинул, не просто хранил — потом не раз перечитывал этот текст.

А тогда... Я работал и успокаивался. На каком языке писал? Конечно, на еврейском. Считал: так будет убедительней для следователя.

Мою работу прервала смерть Сталина».

* * *

Что-то в этом рассказе *й* кажется мне странным. Что? Прежде всего, предложение вступить в партию. Совсем по-другому выглядел в те годы этот ритуал! Энкавэдисты спешили организовать провокацию? Но почему же тогда та история не имела продолжения?

«Все потом забылось, смазалось, в результате сошло на нет...»

Очевидны только две вещи: книга Гудайтиса-Гузьявичюса на полке в библиотеке *й* да рукопись его повести «Бдительность». Она занесена в библиографический список произведений *й*, который он сделал сам, — под номером сто.

| Нужно уметь прощаться вовремя

Он готовится к смерти. Одновременно — рядом — умирает еврейская Литва. Так как *й* относится к процессу умирания спокойно, он, словно нечто неизбежное, воспринимает рассказы об еврейских институтах Литвы: они родились (точнее — возрождены) сравнительно недавно, но уже находятся в состоянии одряхления.

«Так и должно быть». Слова *й* похожи на своего рода присказку.

* * *

В ВИЛЬНЮССКОЙ СИНАГОГЕ во время служб не так просто составить миньян. Однако общественная молитва не дойдет к Богу, если ее произносят меньше десяти мужчин. Поэтому евреям, которые постоянно приходят молиться, платят деньги. «Правда это или нет? — спрашивает й. — Неважно! Если вымысел, то он символичен».

* * *

ЕВРЕЙСКИЙ РЕСТОРАН в центре Вильнюса называется «Литовский Иерусалим». Сначала здесь подавали кошерные блюда. Как это замечательно для верующих евреев! Но кошерные продукты привозили из... Франции; цены в ресторане были астрономическими. И почти не было посетителей.

Принципом кошерности пришлось поступиться. Однако это мало что изменило. Увы, в конце концов, ресторан, оформленный еврейскими художниками, совсем опустел.

«Так и должно быть», — говорит й.

* * *

ФИКТИВНЫЕ БРАКИ с евреями ради того, чтобы эмигрировать из Литвы. Анекдот: «Жена-еврейка — не роскошь, но средство передвижения».

й смеется: «Наконец-то оценили наших женщин! Так и должно быть».

* * *

ТЕРПЕНИЕ И ТРАДИЦИИ. Рассказ о том, что в самостоятельный еврейский театр, откуда разъехались почти все артисты, берут практически любого. Если он только может двигаться по сцене. Если произносит основные буквы алфавита. Если захочет выучить еврейский язык...

й говорит о «великом терпении режиссера», о театральных традициях еврейской Литвы... Но, конечно, не забывает добавить: «Так и должно быть».

* * *

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР газеты «Литовский Иерусалим». Редактор ее — Гирш Смоляков — уехал в Израиль.

— Так и должно быть. Я не слышал, чтобы газету издавали на кладбище.

Газета (после длительного перерыва) все-таки возобновлена.

Ну что ж! Так бывает часто с умирающими: у них вдруг появляются силы, розовеют щеки. Но все равно скоро наступает агония. Естественный ход вещей.

* * *

«Сколько можно предрекать расцвет и возрождение еврейской культуре в Литве? Это «возрождение» было необходимо только для того, чтобы, наконец, поставить памятники... Нельзя реанимировать прошлое. А что надо? Прощаться! Надо уметь прощаться вовремя. Это говорю вам я, последний писатель Литовского Иерусалима».

| Убийцы в белых халатах

— ...И вот, — рассказывает доктор Сидерайте, — приходит ко мне на прием одна больная. Хорошо помню фамилию — Лукьянова. Лечу я ее уже довольно давно и успешно, она относится ко мне не просто с уважением — едва ли не с обожанием. Но Лукьянова не знает, что я еврейка. И вот на приеме, при сестре, она говорит: «Как хорошо, что в Москве арестовали этих убийц в белых халатах! Нет, я никогда в жизни не пошла бы к врачу-еврею!» Слушаю, не перебивая. А потом прошу сестру: «Возьмите, пожалуйста, историю болезни, отнесите в

регистратуру и попросите, чтобы Лукьянову отправили на прием к врачу-литовцу». Та все поняла — и в слезы. «Извините меня, я не знала. Я так вам благодарна!» — «Нет, нет, — отвечаю, — я не могу вас лечить. Не имею права». Потом рассказала обо всем главному врачу, которая, представьте, меня одобрила: «Вы поступили совершенно правильно».

* * *

Почему *й* решает написать в семьдесят втором пьесу «Синдром молчания»?

— Мне было важно понять: чем стали для меня события тех лет?

Легко догадаться: пьеса автобиографична. Если, конечно, под биографией понимать не только факты человеческой жизни — «историю души».

* * *

Ремарка: «Это случилось в Вильнюсе в первые месяцы 1953 года». Да, действие разворачивается в «те самые месяцы». Пик «дела врачей». Агония сталинского режима. Однако главная, сокровенная тема пьесы *й* все та же: страхи...

Автор прав: тоталитаризм, в конце концов, — это дитя наших непреодоленных страхов.

«Анатомия страха» — возможный подзаголовок пьесы.

* * *

2 октября 95 г. Когда я даю *й* почитать книгу Геннадия Васильевича Костырченко «В плену у красного фараона» (Москва: Международные отношения, 1994), он изумляется:

— Как много мы не знали! А вроде бы все происходило на наших глазах. Оказывается, реальность была страшнее и фантастичнее самых фантастических слухов.

Книга построена на основе документов из архивов ЦК КПСС, КГБ СССР. Протоколы допросов, сообщения информаторов НКВД, секретные инструкции, «открытые письма», «закрытые партийные постановления», описания изощренных пыток, хроника антисемитских кампаний, стенограммы многочисленных заседаний, на которых люди клеветают друг на друга и на себя.

Что разглядел *й* в этом мутном потоке слов?

— Страх! Страх умирающего тирана, его подручных, их жертв...

* * *

Вот и в его пьесе — «коллекция» страхов. Хотя на первом плане один: страх неизвестности. Действие развивается; история еще не подвела «итог»; пока не ясно — что дальше? Пока — тишина.

Кажется, тишины больше всего боится врач Сара Эфрос. Коллеги смотрят на нее «пустыми глазами. Знакомые отворачиваются»; молчание «терзает». Чтобы прорвать тишину, она мысленно беседует со своим погибшим в гетто отцом. Увы, тот не может успокоить Сару — только объясняет природу молчания, причину рано или поздно приходящего отчуждения. «Ты еврейка, — напоминает отец. — Лишняя. Везде и во все времена».

* * *

Страхи Йонаса Моркуса. Его беда: Йонасу всегда трудно сказать «нет». В конце июня сорок первого года он придет к тем, кто начал восстание против советской власти в Каунасе. Придет, потому что видит на тротуаре раненых людей, хочет выполнить свой долг будущего врача. А ему дают в руки автомат, заставляют сторожить вещи убитых евреев.

Может быть, заставляют и стрелять? Может быть, это Йонас убил отца своей любимой — Сары?

* * *

Страх Сары: ну как можно даже представить это?..

* * *

Через сорок лет *й* уравнивает палачей и жертв. Уравнивает в одном: и те и другие живут в плену страхов.

* * *

Страхи еще одного героя пьесы *й* — полковника госбезопасности Гурова.

Кажется, он всемогущ. Именно потому, что знает механизм действия страхов. Сломил волю Сары и Ионаса, сделал их своими тайными осведомителями. Гуров сыграл на советском патриотизме Сары, на ее мечте победить зло, которое стало причиной смерти родных. Гуров пользуется безволием Ионаса, его страхом оглянуться в прошлое. Гуров дает Ионасу возможность снова быть «как все» — выучиться, стать врачом, жениться (неважно, что на нелюбимой).

Чего боится сам Гуров? Как и все, как и Сталин, — смерти. Тут все банально: рак. Однако рак, утверждают медики, очень часто является следствием страха. Причина и следствие таким образом путаются, меняются местами.

Полковника госбезопасности в пьесе *й* тоже преследует тишина: «Где бы я ни находился — дома, на улице, в своем кабинете, днем и ночью — всюду меня преследует подозрительная тишина... Я вздрагиваю от каждого шороха».

* * *

Сначала фамилия полковника в пьесе — Фомин. В черновиках *й*, в переводе пьесы на русский он так и значится. Потом Фомин стал Гуровым.

«Гуров», — так представился когда-то энкавэдист, который пытался завербовать *й*.

* * *

Страх становится массовым, овладевает миллионами.

«Странно, все стали трусами, — говорит Сара. — Даже вчерашние герои, возвратившиеся с фронтов».

Йонас замечает новое в жестах, походке, чертах лица: люди съежились, затаились, втянули головы в плечи и спрятали глаза.

* * *

Надо ли упрекать *Й* за то, что он особенно внимателен к «еврейским страхам»? В сущности, они привычны, давно уже — часть тебя («генетические» — говорит о них *Й*).

Начало второго акта. Сара слушает радио: «...Евреи-космополиты убивают государственных деятелей, наносят ущерб предприятиям и ведут шпионаж в пользу мирового империализма».

Она переспросит отца: «Что же это значит?»

Что? Обычная история:

— Изгнание... Погромы... За десять заповедей Моисея мы заплатили кровью. За то, что еврей из Назарета завещал любить ближнего, как самого себя, заплатили кровью. За то, что Маркс требовал справедливости, — снова кровь. Из поколения в поколение реками льется наша кровь. Нас ненавидят, девочка моя.

— Почему же?

— Среди прочего и за наши постоянные «почему?». За наше нетерпение и постоянное недовольство собой и миром, за наше упрямство.

— Очевидно, мы не можем иначе.

— И за то, что иначе не можем.

* * *

В пьесе много разновидностей страха. Путей его преодоления гораздо меньше. Вот один: перестать думать. Или (это тоже рецепт Сары):

нужно снова «построить лодку», в которой когда-то, в юности, ты плыла вместе с любимым; остальное — забыть.

* * *

Еще рецепт: поверь в то, что преследования евреев справедливы. Заслуженны ежедневные карикатуры в газетах. А «партия и правительство знают, что делают». Попытка самогипноза у Сары: «Госбезопасность на всех нагоняет страх, не знаю почему. Я же, наоборот, верю, что она меня защищает».

* * *

Странен ли сюжетный ход *й*? «Убийц в белых халатах» обвиняли в том, что они якобы уничтожают своих больных. Однако ведь именно об этом задумываются Сара и Йонас, когда им предстоит оперировать Гурова.

Еще одна — страшная — их надежда навсегда избавиться от страхов.

Разумеется, они верны клятве Гиппократы. Хотя во время операции раковая опухоль остается в теле Гурова: больной уже неоперабелен, как выражаются врачи.

* * *

...Из рассказов доктора Сидерайте.

«В Литве скорректировали сценарий “дела врачей”, написанный в Москве. Здесь не только никого из медиков не арестовали — сделали вид, что не поняли довольно прозрачный намек. В Вильнюс поступило указание: нужно усилить спецбольницу опытными медицинскими кадрами. Каков был результат “усиления”? Сюда перевели на работу трех докторов. Двое среди них были... евреи — профессор Хацкелис Кибарскис и я.

Яша сказал мне дома:

— Это хитрость госбезопасности, которая хочет создать новое «дело». Ты погибнешь!

Я бросилась к профессору Кибарскису. Тот развел руками:

— Все бесполезно. Вас никто не выручит. Вопрос решался на самом «верху». Вашу кандидатуру обсуждали подробно. Рекомендовали единогласно — как молодого, но очень способного терапевта.

Так я и проработала в спецбольнице немало лет — правда, потом стала уже только консультантом».

* * *

й закончил «Синдром молчания» в восемьдесят четвертом. Один за другим умирали партийные генсеки. Общество оттаивало от страхов. й тоже преодолел в себе «синдром молчания» — решил предложить пьесу театрам, попробовать опубликовать.

Литовские режиссеры от сочинения й отказались. Поставили пьесу в Москве, в каком-то народном театре. А напечатали только в девяностом.

* * *

Финал. Есть ли в пьесе финал? Гуров приходит к Саре поздно ночью, чтобы арестовать ее и Йонаса. Однако... вместе с ними слушает музыку — прячется от своих страхов в сонату Чюрлениса.

Кажется, все страхи разрешает утреннее сообщение по радио: «Умер Сталин».

Это, конечно, не так. Смерть тирана сама по себе мало что решает для маленького человека. Тиран продолжает жить в душах миллионов. Одни страхи заменяются другими. Может быть, единственный итог для героев пьесы й (итог всего случившегося с ними в эти несколько месяцев) — они наконец заглянули, как и автор, в себя. Высказались. Прервали молчание.

| Новеллы его жизни

Готовясь к смерти, *й* откапывает в памяти различные эпизоды. Не хочет, чтобы тот или иной «кусочек жизни» умер вместе с ним. Часто эти эпизоды кажутся мне готовыми новеллами.

Когда он обточил, обкатал этот материал — отобрал необходимые детали, отбросил ненужное? Вряд ли во время бесконечных «устных рассказов» (так бывает у писателей-златоустов, но я знаю: вот уже много лет *й* мало с кем общается). Вероятно, эту работу он проделал мысленно — возвращаясь в прошлое, живя там.

Эту его новеллу я называю «САЛФЕТКА».

— ...В то лето поехал я в санаторий, на Кавказ. Помните, наверно, эту атмосферу советских курортов? Толкотня, разнообразие типов и лиц, не очень строгий режим, хорошее, между прочим, лечение. И еще — всегда особое оживление, особое томительное ожидание, связанное с тем, что тысячи мужчин и женщин вырвались из своих семей, из круга суетливой скучной жизни... В санаториях быстро, иногда стремительно завязывались романы, порой завязывались так, что о курортниках говорили: как с цепи сорвались...

Ну так вот. Приехав в санаторий, я познакомился со своими соседями по столику в столовой. Обычные лица. Какой-то инженер из российской глубинки. Московский экономист. Третьей (кроме меня) была красивая, средних лет, дама. Мои сотрапезники наперебой ухаживали за ней. Но я сразу понял: безрезультатно. Была она не просто неприступна — заносчива. В первую же минуту знакомства сообщила: приехала сюда из Германии, где ее муж, генерал, служит в советских войсках.

Характер этот был для меня ясен. Совершенно ясен. Потому роль свою начал я сразу, ничуть не раздумывая и примериваясь. Говорил с ней вежливо, но не более — без провинциального гусарства, сладкой

галантности. Вообще выбрал для своих немногих реплик за столом интонацию спокойную, может быть, чуть светскую.

Спокойным же — как бы нарочито привычным — жестом я взял с десертной тарелки накрахмаленную белую салфетку и легко заправил ее за воротник рубашки. Ни на кого при этом не смотрел, только чуть улыбался — якобы собственным, далеким отсюда мыслям. Но боковым зрением я сразу заметил легкое удивление в ее глазах. Сразу понял нехитрый ход мыслей, которые проносились в красивой головке этой советской мещанки: «Да ведь он европеец!»

«Откуда вы?» — невольно спросила она.

«Из Литвы. Это все еще за граница», — ответил, чуть увеличивая свой обычный акцент.

И генеральша уже больше не сводила с меня глаз. И растаяла ментально вся ее заносчивость... Впрочем, хватит об этом. Ничего нет здесь больше особенного. Рядовой курортный эпизод. Обычный мой эксперимент.

* * *

А эту устную новеллу *й* по сути назвал сам. Он несколько раз повторяет:

| «Наивный Перец Маркиш»

«Помню одну встречу с ним. Кажется, в начале сорок пятого года.

Был я в отпуске после ранения. Приехал в Москву с фронта. Перец Маркиш пригласил меня к себе домой.

Мы провели вместе долгий вечер: я — начинающий еврейский писатель и он — живой классик. Между прочим, ужин приготовила жена Маркиша — красавица!

Волнуясь, я входил тогда в его кабинет. Сказать, что этот кабинет произвел на меня большое впечатление, значит не сказать ничего.

Высокий стол-бюро: видимо, Маркиш работал стоя. Несколько пишущих машинок. Стопки бумаги. Книги: с закладками, раскрытые, иногда лежащие прямо на полу. Передо мной открылась его лаборатория. Между прочим, о Маркише говорили, что он работает как вол. По многу часов подряд.

Вечер этот начался празднично. А закончился конфликтом, который я переживал долго. Да, мы резко поспорили!»

О чем спорили? *й* помнит смутно. Влюбленный в стихи Маркиша, он воспринимал его как обретенного вдруг старшего брата, которому хотел доверчиво открыть душу. Кажется, говорил об «изнанке» войны, тяжести будущего, растущем антисемитизме, о еврейской культуре, еще существовавшей в СССР, но уже оказавшейся на обочине...

«Маркиш слушал меня, а думал о чем-то своем. Резкие возражения его я не запомнил — они меня не убедили. Запомнилось, что он вдруг сорвался: «Как ты смеешь?!»

Попрощались холодно.

А после войны Перец Маркиш приехал в Литву. Я встречал его на вокзале, отвез на машине в гостиницу. Председательствовал на его литературном вечере. Мы оба не вспоминали о встрече в Москве. Подружились даже. А тогда, во время войны, выйдя от Маркиша на улицу, я думал: как же он убежден в своей правоте! Как же наивен!»

* * *

Еще несколько слов *й* о Маркише — через несколько дней: «Наивен, конечно, был я. Разве он мог вести себя иначе? Знакомы мы были шапочно — встречались несколько раз в Еврейском антифашистском комитете. В тот вечер он говорил то, что должен был сказать. И был, разумеется, прав. Ничуть не оскорбляя его память, добавлю: Перец Маркиш боялся. Как и все мы. Потом я узнал: он был со всех сторон окружен доносчиками».

| Теория бесконфликтности

В очередной раз мне напомнил об этой статье Пранас Моркус, литовский публицист, кинорежиссер, сценарист:

— Многим тогда показалось — подул свежий ветер...

Слышал я и такой отзыв: «Смелость критика была даже вызывающей».

Статья *й* называлась «Плоды “метода” бесконфликтности».

* * *

...Теперь, кроме специалистов-литературоведов, мало кто и помнит, в чем состояла суть так называемой «теории бесконфликтности» в литературе. Здесь нет ничего удивительного. Память человека стирает безжизненные схемы. А защитники «теории бесконфликтности» утверждали: в советском обществе нет никаких серьезных противоречий, в крайнем случае — возникают противоречия между хорошим, очень хорошим и отличным... Такой жизнь должна была предстать и в искусстве.

Олицетворение странной этой концепции: роман Семена Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды», фильм Ивана Пырьева «Кубанские казаки», пьесы Анатолия Софронова... «Мастера культуры» создавали «потемкинские деревни». А их награждали за это Сталинскими премиями; на них призывали равняться; их — то с укоризной, то с угрозой — противопоставляли другим художникам, которые «очерняли социалистическую действительность».

* * *

Пересмотрел свои предыдущие записи. Как много в них — о страхах *й*! Так много, что его можно счесть паникером или того больше — человеком с больной психикой. Не мое дело — оправдывать

или осуждать героя книги. Но страхи... Что ж, страхи-то как раз были реальными!

* * *

...отклики ведущих газет и журналов Литвы на статью *Й*. Откликов — около полутора десятков. *Й* аккуратно их сохранил. Идет тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год...

* * *

«Критик *Йосаде* выступил со статьей “Плоды «метода» бесконфликтности”, в которой по существу повел атаку на основы принципа партийности в литературе, против партийного руководства литературой».

Это августовский номер журнала «Коммунист». Конечно, здесь взвешено каждое слово. Материалы «Коммуниста» штудируют на политзанятиях, их воспринимают как подсказку, как руководящее указание — в том числе и органы госбезопасности.

* * *

...другие публикации — все то же, то же: «идейно вредная путаница», «отход от принципа партийности», «самореклама», «статья, печально прославившаяся», «вульгарная», «ненаучная»...

Уровень дискуссии демонстрирует «Теса» (передовая статья «За боевую литературную критику», 13 августа). Газета «остроумно» оспаривает тезис *Й* о том, что «идти путем бесконфликтности рецензента толкают объективные обстоятельства». Если б это соответствовало истине, замечает «Теса», «за каждое малейшее заблуждение критика бы били. Значит, *Йосаде* уже избили бы так, что... Между тем он жив, здоров и даже пишет новые статьи».

Й показалось: последнее было сказано с недоумением.

* * *

Он был совсем один. Даже руководители Союза писателей Литвы и «Пяргале», доброжелательно относившиеся к *й*, должны были «отмежеваться» от него, «заклеймить». Если они делали это недостаточно резко, то получали выговор:

«Вместо того чтобы сказать, что эта статья (...) является политически вредной, руководители наших писателей, словно извиняясь перед автором, говорят о том, что, мол, статья, поднимая некоторые правильные положения, недостаточно ясна». («Советская Литва», 15 августа).

* * *

...*й* многое сказал эзоповым языком. Но проработчики точно почувствовали живой нерв его статьи. Автор не просто отбрасывает розовые очки для писателя, иронизирует над персонажами, которые трудятся «от души», на работу идут «твердой поступью»... Он против отношения к литературе как к части социалистического хозяйства, когда исполнители рапортуют о «больших успехах», обещают новый «подъем»... *й* не зря ставит эти слова в кавычки.

* * *

Лексика статьи *й* кажется сегодня архаичной. Зато ее пафос заставил меня открыть томик Оруэлла — эссе о литературе в тоталитарном обществе:

«Воображение — и даже, насколько возможно, сознание — будет исключено из процесса писания. Бюрократы станут планировать книги по основным показателям, а сами книги — проходить через столько инстанций, что в конце концов сохранят не больше от оригинального произведения, чем сходящий с конвейера “форд”».

* * *

Я не хочу преувеличивать: *й* не был первым, кто в пятидесятые годы выступил против «теории бесконфликтности» в литературе. Статьи

В. Померанцева, М. Щеглова, Ф. Абрамова... Но они — в московских журналах. *И* был первым в Литве! Одну из своих рецензий (на сборник рассказов А. Баужи «Светлый путь») он тоже назвал почти программно — «За красоту без прикрас!». В то время это звучало как вызов.

* * *

Травля *И* прекратилась внезапно. Дело было, конечно, не в нем.

В ЦК КПСС решили: «потемкинские деревни» не должны походить на сказку; ложь выглядит убедительнее, если в ней есть толика правды. Защитников «теории бесконфликтности» в литературе «поправили», одернули. Разумеется, они остались в рядах «активных бойцов партии».

* * *

Для меня в этой истории важнее всего вопрос: почему? Да! Почему *И* начал эту — с самого начала неравную для себя — борьбу?

Есть два ответа. Первый очевиден: отстаивая достоинство искусства, *И* отстаивал свое писательское, человеческое достоинство.

Второй довод приходит на ум не сразу. Однако сейчас он кажется мне бесспорным. Решившись сказать «король-то голый!», *И* хотел убить собственные страхи...

| Зеркало

Сила духа. И — слабость. Многие годы *И* развивает в себе первое, подавляет второе. Но он не видит себя со стороны. Может быть, наши беседы — зеркало этих процессов? Одновременно — это и зеркало его прощания с жизнью.

* * *

У него по-своему прекрасная память. Совсем не старческая. Зоркая — не только на вчерашнее, но и на сегодняшнее.

Лучше всего помнит удовольствия. Вот почему так часто всплывают в наших разговорах женские профили. Вот почему то и дело возвращается к своей работе («главная радость сегодня»). Хорошо помнит обиды (так или иначе — это лишение жизненного удовольствия). Все остальное — в зависимости от обстоятельств.

* * *

Несмотря на огромную самодисциплину *й*, его сознание, как у большинства людей, неустойчиво. Текуче. Отсутствие стержня. Скачки. В течение нескольких минут: от одной темы к другой. От Ницше до... гречневой каши («Раньше терпеть не мог, а теперь вдруг полюбил»).

* * *

Об одном и том же *й* вспоминает в разное время по-разному. Чаще всего по-другому видит не факты, не поступки — мотивы. Иногда — последствия поступков. Вот, к примеру, история с Евой (любовницей отца, которая стала потом и любовницей *й*). Обычно *й* вспоминает об этом, как бы чуть недоумевая. Но в письме к сестре Башеве, а потом и в разговоре со мной говорит:

— Я благодарен судьбе за этот случай.

Почему? Вряд ли бы иначе уехал из городка. И, наверное, не стал бы писателем.

* * *

Наивное убеждение: человек един в своих устремлениях, в сокровенной своей сущности. Но передо мной человеческая жизнь, которая распадается, дробится на жизни другие — не схожие между собой. Столкнувшись с этим феноменом, *й* ошеломлен. Сестра Башева вернула его письма, отправленные им когда-то — во время войны — ей, в Израиль.

— Никогда бы не подумал, что это писал я, — говорит *й* жене. — Ни за что бы себя не узнал. Нет, нет, это не я!

14 сентября 92 г. Два года *й* твердит мне: в его бедах так или иначе виноваты антисемитские кампании сороковых–пятидесятых годов.

Что ж, логично. Политика государственной ненависти, государственного антисемитизма сломала судьбы и души миллионов. Судьба *й*, считаю я, в этом отношении показательна. Впрочем, показательна не более и не менее, чем судьбы других еврейских писателей.

И вот я хочу написать эссе, где собираюсь проследить этапы этого насилия над личностью, которое переходит потом в саморазрушение таланта.

Вечером рассказываю *й* план своего эссе. Его реакция неожиданна. Он опровергает... самого себя:

— То, что случилось со мной, трагично, но я не воспринимал это как антисемитизм.

Сначала — недолго — спорю. Потом молчу. Хотя могу напомнить *й* его собственные слова, свидетельствующие об обратном. Его аргументы сейчас так легко опровергнуть.

— ...Разве это был антисемитизм? — убеждает меня *й*. — В те страшные годы почти все крупные литовские писатели поддерживали меня... Шимкус, Балтушис, Венцлова, Цвирка, Тильвитис... Я чувствовал их теплые взгляды, которые резко диссонировали с тем, что писали газеты. И не только взгляды. Как раз в разгар «дела врачей» меня вызвал к себе Балтушис — в ту пору мой шеф, главный редактор журнала «Пяргале»: «Слушай, Йосаде, тебе надо сейчас поехать в Ялту. Вот путевка в Дом творчества на два месяца, потом сможешь остаться там еще».

Обнаружив в прошлом интересные факты, *й*, как всегда, оживляется:

— Учтите, это было не только со мной. Я знаю еврейских журналистов, которые, на первый взгляд, серьезно пострадали в период «борьбы с космополитами». На первый взгляд... В сорок восьмом году

с ними, если не ошибаюсь, беседовал сам Шумаускас (в то время — заместитель Председателя Совета министров Литвы). Разумеется, беседовал с каждым наедине. Схема разговора была все той же: «Уезжай из Каунаса в Шяуляй... Дадим квартиру... Дадим работу». А формально «еврея-космополита» убрали из партийной печати. И рапортовали об этом в Москву.

И смотрит на меня. Ничего не говорю ему о том, что он знает прекрасно сам: в Литве смягчали «государственно-партийный антисемитизм». Но разве могли отменить вообще? Разве могли не закрыть еврейские газеты, еврейский музей, школы, разве...

Молчу. Я вдруг понимаю: именно такая реакция И очень интересна для меня. Именно изменчивость его сознания прежде всего требует наблюдения. Затем, уже дома, понимаю и другое: он прав глубинно, хотя не может это сформулировать. Государственный антисемитизм уничтожал еврейскую культуру, уничтожал творцов. Но души прежде всего деформировал страх.

* * *

Почему И раньше говорил мне иное? Да, он враг стереотипов и штампов. Однако стереотипы мышления многослойны. Первый слой — банален, на его основе строят пародии; второй слой штампов берут журналисты, но зачастую обходят писатели... Что такое третий слой стереотипов? Может быть, он опасен больше всего. В нем — иллюзия истины.

* * *

Порой кажется: И (как многие люди) вспоминает... свои прежние воспоминания.

Говорю ему об этом. Ищем выход. Наконец решаем: буду задавать ему «неудобные» вопросы — с их помощью нужно отбросить наслоения штампов.

* * *

Он и сам всегда хотел понять движение своего сознания. Как интересно было бы прочитать дневники *й* разных лет. Увы!

«...Мой первый, довоенный дневник пропал. Я вел его то ли с четырнадцати, то ли с пятнадцати лет. До самой войны. До первого ее дня. Шесть толстых тетрадей. Там все еще было наивно, печатать это было нельзя. Однако там была моя жизнь! С помощью тех тетрадок я смог бы проанализировать путь моего становления.

Разумеется, я не вспомнил о дневнике, когда бежал из Каунаса. Дневник остался в моей квартире. После войны я пришел туда, перерыл все углы. Безрезультатно.

Вел ли дневник на фронте? В свободные минуты. Понемножечку. Продолжал и после войны. Тот дневник я сжег в ожидании ареста, в начале пятидесятых.

Теперь вот опять дневник. Старости».

Первый и второй его дневники были на еврейском. Последний — на литовском. Язык фиксирует самое интимное. Смена языка символизирует трагический перелом.

* * *

Прав Андре Мальро: «...человеку не дано достичь дна человека; он не находит своего образа на том пространстве знаний, которое он освоил; он находит свой собственный образ в вопросах, какими он задается».

* * *

Что обнаружил бы *й*, если бы все три дневника оказались сейчас перед ним?

Путь своего литературного становления.

Попытки «самовоспитания».

Эпизоды, которые ему не хочется вспоминать (и потому он — интуитивно — не откопал их в прошлом).

Инстинкты, с годами отпавшие, точнее — трансформировавшиеся в иное.

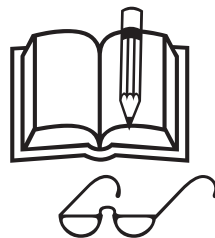
Суету... Суету... Суету...

Страхи. И — память о старых страхах.

А в общем — все то же, что отражает сейчас наше «зеркало».

ЖИЗНЬ ПРИ СВЕТЕ СМЕРТИ

Тетрадь вторая



| О пользе некролога_В

2 декабря 93 г. *й* снова признался, что очень хочет прочесть свой некролог.

— Скажите, — спрашивает он меня, — в моем желании есть логика?

Без всякого лукавства отвечаю: да. Человеку очень важно заранее узнать итог своего земного пути. Заглянув в некролог, он скорректирует многие собственные поступки...

— Это — фантастика, — прерывает меня *й*. — Фантастику я не люблю даже в искусстве. Но реально другое: человек может попробовать написать свой некролог сам...

Как всегда, *й* волнуют аналогии. Были ли подобные случаи в истории литературы?

Вот почему я рассказываю ему о сибирском писателе Антоне Семеновиче Сорокине (1884–1928).

* * *

Сорокин легко отбрасывал условности, в плену которых обычно находятся люди. Он мог заказать свой скульптурный портрет, чтобы потом подарить его музею. Сам выдвинул себя кандидатом на премию Нобеля. Сам же рассылал собственные произведения главам многих

государств. (Правда, ответил Антону Семеновичу лишь король Сиама — извинился, что не понимает по-русски.)

Удивительно ли то, что однажды Сорокин напечатал в одном из дореволюционных журналов некролог в связи со своей мнимой смертью?

...Какие выводы делает *й*, выслушав заинтриговавший его рассказ?

Сначала задает вопрос:

— Скажите, не был ли Сорокин сумасшедшим?

— Нет! Он был всего лишь эксцентричен. Но ведь эксцентричны многие люди. Сорокин же был по-своему очень рассудителен и даже прозорлив. Так, во всяком случае, считали те его современники (например, Горький), которые ценили творчество Антона Семеновича и его общественные начинания.

— Мне кажется, вы говорите о родном мне человеке!

й волнуют подробности: можно ли было что-то купить на те деньги, которые Сорокин напечатал во время гражданской войны; как выглядела издаваемая им «Газета для курящих»...

— Значит, на купюрах стояла подпись самого Сорокина? Действительно, он никого не обманывал! Вы говорите, что газета печаталась на особой бумаге — из нее легко было свертывать самокрутки? Это тоже на редкость логично!

Но главный вопрос *й*, понятно, о другом:

— Вы не помните — о чем именно писал Антон Сорокин в собственном некрологе?

— Нет, не помню. Может быть, о том, что всегда выступал против притеснения царской властью киргизов. Или о том, что потратил немало сил, предупреждая человечество о грядущих ужасах Первой мировой войны. Или о том, как устраивал публичные скандалы Колчаку...

— Что ж, — вздыхает *й*, — я опять убеждаюсь: это самое резонное — самому написать свой некролог! Кому же лучше известны и твои слабости как писателя, и твои сильные стороны! К сожалению,

в свое время я сумел набросать только пособие для тех, кто будет составлять мой некролог.

— ?!

— Вы эти строки, конечно, читали: мое первое письмо Асе.

— Некролог? Но ведь там вы — впервые — сформулировали свою литературную программу...

— А как же иначе? Думая о некрологе, гораздо легче жить. Ты отбрасываешь мелочи — вспоминаешь самое главное... Ту программу я, разумеется, выполнил!

* * *

Итак, еще двадцать лет назад, думая о собственном некрологе, я решил рассказать в своих пьесах правду о евреях СССР, об их отношениях с неевреями — «дружбе, конфликтах, невидимой стене, которая их разделяет; о сюрреалистической действительности, что отравляет тем и другим души»; об антисемитской кампании против так называемых космополитов; о «глобальной ассимиляции евреев Советского Союза»; о двух последних днях руководителя Сопrotивления в Вильнюсском гетто Ицика Витенберга...

| Подарок дочери

«Может быть, это еврейский Бог позаботился снова обо мне. Дал шанс спасти душу. Однажды — с горечью и обидой на жизнь — я все же вернулся в “еврейский край”. Тот, который когда-то спешно покинул.

Как это случилось? Знаете одну из теорий происхождения антисемитизма? Когда евреи далеко уходят от собственных корней, забывают о Боге, он посылает своему народу испытания.

Так вот, очередные невзгоды пришли ко мне перед отъездом Аси. В день премьеры запретили постановку моей пьесы «Пятеро за одним столом».

Удар для меня был страшный. А причина очевидной, хорошо понятной всем. Хотя, кажется, ни один человек не вымолвил слово, которое с таким скрежетом произносили советские пропагандисты, — Израиль.

Это было на самом пороге семидесятых. Тысячи советских евреев уезжали, как стали выражаться именно тогда, на свою историческую родину. В Литве это началось чуть раньше, чем в других местах. И власти не всегда знали, как реагировать. Одних выпускали быстро, другие годами томились “в отказе”. Устраивали пикеты у здания ЦК партии, голодали... Я отвлекся от главной нити своего рассказа? История эта, по-моему, достойна того, чтобы чуть задержаться.

Между прочим, все началось и развивалось, как детектив.

Я сразу — еще только заканчивал пьесу — почувствовал: драму, где на первой странице стоит еврейское имя автора, поставить будет трудно. А может — невозможно. У театра возникнут сомнения. “Инстанции” обязательно зададут вопрос: уезжает ли и этот автор?

Я долго не решался предложить пьесу какому-нибудь театру. Неожиданно пришла мысль, которую сначала отбросил. (Какая же это литературщина, думал я.) Однако потом поступил именно так! Да, я послал свою пьесу в театр Вильнюсского университета, но главное — послал анонимно. Так часто делали сочинители в старину. Я хотел, чтобы режиссер оценил мое произведение без предвзятости — не задумываясь о том, какие хлопоты может доставить ему драматург-еврей.

Я доверил свое детище почте. И стал ждать.

Проходит одна неделя. Еще одна. Еще... Я по-прежнему жду, не зная, что делать. В это время моя дочь подала свои документы в ОВИР.

Жду. Надеюсь: скоро как-то разрядится обстановка. Стихнет анти-израильская кампания. Наконец, решаю послать кого-то из знакомых на “разведку” в театр.

И тут в один прекрасный день вижу в университетской газете сообщение (заметка эта и сейчас хранится где-то в моем архиве). Руководитель театра режиссер Лимантас пишет: к ним поступила интересная пьеса; к сожалению, автор не указал свое имя; что ж, театр так и поставит эту вещь — на афише будет стоять только ее название.

Я обрадовался? Разумеется. Тем не менее... Решил ждать еще. Пьеса нравится театру? Хорошо, пусть начинают репетиции без меня.

Наконец, друзья сообщают: репетиции спектакля идут полным ходом. Тут-то я и появился в театре, представился:

— Автор!

Конечно, я и раньше знал Лимантаса. Талантливый режиссер. Честен, принципиален, не боится постоять за свои принципы. Тем не менее чувствую: Лимантас разочарован. Ясно, он вовсе не против Йосаде, но... На репетициях, куда я теперь прихожу постоянно, разговор все время сворачивают на ту же тему: уезжаю ли я в Израиль? Я говорю ему правду — едет дочь. Конечно, Лимантасу это тоже не нравится. Репетиции, однако, продолжают.

Чтобы как-то поддержать театр, я решил быстрее напечатать пьесу. Пусть она пройдет цензуру, пусть с ней познакомятся в ЦК. Так и получилось. Пьеса еще до премьеры увидела свет в «Пяргале», потом вышла отдельной книжкой.

И вот — афиша, извещающая о премьеры. Спектакль должны играть... в ресторане.

Почему в ресторане? Это был интересный режиссерский ход. Ведь именно за столиком кафе разворачивается действие. За каких-то пару часов здесь завязывается и рушится роман главного героя, молодого ученого, резко меняется его отношение к вроде бы совсем простым,

но, оказывается, раньше не слишком ясным для героя ценностям жизни. А вокруг — танцы, музыка. Обычный гвалт подвыпивших людей. Политика? Нет, к ней пьеса не имела никакого отношения.

Для спектакля сняли — на два вечера — зал ресторана «Дайнава». Точнее говоря — посетители ресторана в эти вечера должны были смотреть мою пьесу. И даже — так придумал режиссер — по-своему участвовать в действии. Так ли уж это оригинально? В Литве, во всяком случае, такое было впервые.

Как всегда, перед премьерой — генеральная репетиция. Комиссия, которая должна «принять спектакль». В комиссию входят представители ЦК партии, горкома, министерства культуры... Обычно в таких случаях их бывало трое-четверо. А тут пожаловала целая делегация. Человек пятнадцать. Это меня удивило, хотя сразу же сказал себе: «Но ведь и постановка — сенсация».

Я вспоминаю сейчас лица тех, кто был тогда в зале ресторана: мой сын, невестка, несколько друзей-драматургов, ну и, конечно, — актеры, режиссеры. Между прочим, среди них была Казимера Кимантайте. Знаменитая наша актриса, режиссер.

Успех? Это был огромный успех. Если судить по аплодисментам.

Во время обсуждения вначале попросила слова какая-то девушка. Наверное, инструктор горкома. Ее первые фразы повторяли потом почти все выступающие: «А зачем нам такая пьеса? Что, собственно, автор хотел сказать? Советской молодежи спектакль не интересен и не нужен».

Я сразу понял, почему на генеральную репетицию пожаловала большая делегация. Второе, третье, четвертое выступление... Иначе говорила лишь одна Кимантайте. Говорила страстно, даже с надрывом: «Кто вы такие, чтобы так категорично рассуждать об искусстве? Спектакль замечательный!»

Она демонстративно подошла ко мне. Пожала руку. Обняла.

На том все и кончилось. Больше никто ничего не сказал.

Когда я пришел домой, раздался телефонный звонок. Я снова услышал взволнованный голос Кимантайте:

— Это так оставить нельзя! Я обращаюсь к Снечкусу!

Да, они были друзьями. Но, подумав, я ответил:

— Не стоит. Вы поставите Снечкуса в неловкое положение. Ведь спектакль никто не запретил. Пусть была критика, и очень резкая, но завтра — премьера.

Утром я еще спал, когда раздался стук в дверь. На пороге стоял Лимантас.

— Есть приказ руководства университета снять постановку. Премьеры не будет.

Между тем все билеты уже были проданы. Аншлаг. Я легко представил картину: в семь вечера зрителей встречает кассир — возвращает деньги.

Говорю Лимантасу: «При чем тут университет? Нет, мы не должны это допустить. И не допустим! Я сейчас же пойду добиваться справедливости».

Лимантас поддержал меня. Я быстро оделся, мы вышли из дома.

Где я был в тот день?

Сначала отправился к Гришкявичусу. Тогда он занимал пост первого секретаря горкома партии. Мы были хорошо знакомы. Когда-то Гришкявичус, редактируя крестьянскую газету, часто заказывал мне рецензии.

Рабочий день еще не начался. Я ждал Гришкявичуса в вестибюле.

— А, Йосаде! Что случилось?

— Только что узнал: премьера спектакля по моей пьесе отменена.

— Как это так? Немедленно идите к секретарю горкома по пропаганде...»

* * *

Тут я оборву рассказ *й*. Про то, как он пошел к секретарю горкома, а потом — к председателю горисполкома (в то время им был Сакалаускас, будущий Председатель Совета министров Литвы), а потом пошел в министерство культуры — в один кабинет, в другой, третий... И все говорили: «Ничего не знаю».

й не сразу понял: это карусель. Он нигде не добьется правды. Где-то — скорее всего, в том же огромном здании на проспекте Ленина — дали точную и не допускающую никаких отклонений команду.

Что это было? Наказание, предупреждение. И, конечно, урок.

А через несколько недель *й* прощался с Асей.

— Вот какой она преподнесла мне подарок перед отъездом...

Он говорит это с горькой иронией. Но, по-моему, ирония напрасна. Да, подарок. Ведь *й* тут же добавит:

— Мне напомнили, что я еврей, что я — еврейский писатель. Потом я об этом уже не забывал.

| Фрагменты жизни

6 декабря 90 г. Мы изучаем лабиринты его жизни. А рядом другая жизнь — Литва.

Приватизация, растущие цены, нищета, пикеты. Фон, на котором беседы наши кажутся фантазмагорическими. «На самом деле они-то как раз и реальны,» — замечает *й*.

* * *

Слова Фицджеральда: «Талант — способность воплотить то, что ты признаешь. Другого определения таланта дать нельзя». В этом-то смысле он и мучается — сомневается бесконечно: нет таланта!

Его драматургические замыслы гораздо сложнее, чем их исполнение. А сам он — сложнее, интереснее своего творчества. (12 октября 93 г.)

* * *

22 ноября 94 г. Все эти дни живет во мне наш разговор с й.

«Что делаю? Рву письма. Знаю, будете меня ругать. Но я не хочу никому причинять боль... Скоро, скоро конец. А может, на некоторых письмах сделаю пометку: никогда не публиковать».

«Утешаю» й: проблема стара. Рассказываю, что когда-то И. Гончаров оставил завещание: письма не печатать. Что ж, сейчас публикуют и это завещание, и те самые письма.

| О природе молчания

«Это только сказать легко: вернулся к еврейской теме. На самом деле — опять надолго замолчал...

Помните, мы собирались поговорить о природе молчания в страшные те годы? Я подумал сейчас: да ведь об этом и говорим! Все время говорим именно о моем молчании.

Я писал не о том и не то — значит, молчал о главном.

Я таился от всех, сжигал дневники и рукописи — опять молчал.

Впрочем, бывает у писателя тягостное молчание и другого рода. Я его тоже пережил не раз.

Это молчание настигает литератора во время работы.

...Только что написанные мной слова выглядели вялыми, мутными, бесцветными. В безумной тоске я смотрел на гору черновиков. И чувствовал полное бессилие. Я презирал себя.

Длилось это не недели, не месяцы — годы.

Я боялся. Знал: писатель иногда перестает быть писателем — как мужчина перестает быть мужчиной».

«Но вернусь к своему замыслу. Я решил рассказать о самом больном. О так называемом “деле врачей”.

То, что происходило тогда с нами и что ожидало нас, повторялось уже на Земле многократно. Как назидание человечеству этот сюжет поведен в Ветхом Завете. В Книге Эстер. А еврейские мамы, наверное, миллионы раз с испугом и радостью рассказали эту историю своим малышам.

С испугом: злодей Аман, главный советник царя Персии, задумал убить всех евреев империи.

С радостью: Бог не допустил погрома! Царица Эстер спасла соплеменников — отвела царский гнев и обратила его на Амана.

Сейчас, перед смертью, я часто думаю, почему враги евреев забывают мудрую притчу, не замечают ясный ее смысл — тот, кто решил уничтожить избранный Богом народ, скоро погибнет сам. В двадцатом веке в роли Амана выступил Гитлер, потом — Сталин. Конечно, в пятьдесят втором году я не раз напоминал себе знакомую с детства историю из Книги Эстер, утешался ее оптимизмом. Однако такими реальными казались страшные слухи. Уже построена виселица в Москве, где прилюдно должны казнить «убийц в белых халатах». Уже проложена железнодорожная ветка на Север — туда, чтобы уберечь от всеобщего праведного гнева, правительство отправит сотни тысяч евреев...

Я вернулся в те дни. Обдумал сюжет. Увидел героев. Но вдруг почувствовал: я должен писать эту пьесу по-еврейски!

Начал. Сделал несколько больших фрагментов. Перечитал. Нет, нет! Все не то. В хорошей пьесе каждое слово стреляет, а мои фразы плавали, мысли — тонули.

Я с ужасом понял: за четверть века молчания мой идиш омертвел, появилось косноязычие.

Нет, я не сдавался. Попробовал — как когда-то статьи — отдавать переводить отдельные сцены на литовский язык. Бесконечно правил потом перевод. Думал, так будет работать проще. Ничего не выходило. Это было уже не редактирование — я просто начинал писать заново. И так же бесцветно».

* * *

...Оказалось, есть документ. Одно из писем *й* тех лет, которое он, к счастью, не уничтожил.

Читая, вспоминаю: *й* в начале семидесятых всюду искал пишущую машинку с еврейским шрифтом. Это была еще одна его попытка облегчить «творческие муки». Увы, поиски долго были безрезультатными. Не один *й* — многие евреи в страхе избавлялись от всего, что соединяло их с родной культурой. Позже доктор Сидерайте привезет мужу пишущую машинку из Израиля. Но прежде *й* все же отыщет ее в Москве.

* * *

...Почему отправлено письмо? Это ответ на телефонный звонок. Ответ Хане — женщине, которая когда-то одолжила *й* пишущую машинку с еврейским шрифтом.

2 августа 1977 года. *й* все еще работает над пьесой «Синдром молчания».

* * *

«...По правде говоря, Ваш телефонный звонок меня взбудоражил.

В тот день я обедал в кафе. После обеда, как обычно, остался поболтать с друзьями. Рассказывали анекдоты, обсуждали, но опять не обсудили важные мировые проблемы. Внезапно почувствовал: я должен подняться, бежать домой.

Почему? Дома не было никаких дел. Никто меня не ждал. Но я услышал зов — Ваш зов.

Только успел открыть входную дверь, как раздался звонок. Вы скажете: мистика! Назовите это как хотите, Хана. Подобное случалось со мной много раз. Прямо-таки необъяснимые вещи! И то, что я Вам сейчас расскажу, — тоже... Но — все по порядку.

Вы, видимо, заметили: я уехал из Москвы в приподнятом, едва ли не в праздничном настроении. На сердце у меня было светло. Я не сомневался: единственное препятствие для реализации задуманной работы преодолено! Сейчас, рассуждал я, когда Добрый ангел доверил мне чудесный ящик с еврейскими буквочками, я должен только поставить его на письменный стол, оторваться от людей и в течение нескольких месяцев перенести на бумагу то, что во мне кипит.

Почему так думал? В голове и сердце моя пьеса была готова. Сюжет, конфликт, характеры разработаны во всех подробностях. Я видел уже целые сцены, слышал голоса... А длительный опыт убедил меня: главное — это выносить пьесу, дать ей созреть.

Увы, мой энтузиазм вскоре начал гаснуть. Я работал все тяжелее, медленнее. Сначала не хотел себе в этом признаться, не хотел допустить: я похож на лошадь, которая тянет свой воз на гору из последних сил... Однако прошла неделя, другая — я не написал ни слова.

Я стал искать причины. Теперь понимаю: это были не причины, а отговорки. Я обманывал сам себя, винил во всем внешние обстоятельства.

Так продолжалось долго. Однажды, уложив чемодан, я сбежал в Бирштонас — маленький курортный городок, окруженный лесами. Здесь снял комнату с видом на Неман и — опять за работу. Наконец написал несколько сцен, однако по-прежнему был в унынии.

Сердечный друг мой, Хана, то, что я доверяю Вам теперь, не знает никто — никто из моей семьи и моих друзей. Что произошло со мной? На первый взгляд, ничего. Я вернулся из Бирштонаса, снова часами не выхожу из своего кабинета. И мои домочадцы уверены: слава Богу, папа

опять — несмотря на свой возраст — работает прилежно и методично. Они, как и все вокруг, не знают: я переживаю сейчас самый тяжелый период своей творческой жизни — глубокий духовный кризис.

Признаюсь Вам, милая Хана: на душе у меня темно. Я в отчаянии. Но хуже всего то, что никак не могу разобраться в сути своих переживаний. Почему меня так пугает мое теперешнее молчание? Это ведь обычное явление — рано или поздно его переживают все писатели. У меня тоже было немало пауз. Они огорчали, раздражали, но не раскалывали, как сейчас, мою душу. Всегда была надежда: это скоро кончится. Никогда не было ужасного подозрения: все пропало, я исчерпал полностью свой духовный источник. Однако именно такие мысли мучают меня сейчас. Написав сцену, перечитываю ее и хватаюсь за голову. Все происходит словно в тумане. Люди говорят деревянными голосами, их реплики мертвы, сами они будто завернуты в вату. Впрочем, вспоминаю: и такие ощущения бывали у меня раньше; но тогда мне самому не было ясно до конца, что же хочу изобразить. Теперь наоборот: мне ясно все. И мое «тесто» вроде бы имеет вкус, запах. Но хлеб все-таки получается сырым, не выпеченным. Почему?

Я прихожу к единственному выводу: дерзнул затронуть слишком масштабную тему! Я слаб для того, чтобы поднять ее. Мой интеллект беден. Короче, я забрался не в свой огород. Милая Хана, все это означает одно: мне не хватает таланта. Да, да! А тот факт, что пишу уже сорок лет и меня печатают, свидетельствует о другом: моих способностей хватает лишь для маленьких тем, плоских проблем. Но как только я замахваюсь на что-то более глубокое, большое... Эх!

И еще. Во всех до сих пор написанных мной пьесах были люди и события, которые я наблюдал со стороны. Пусть даже интересные мне, они дышали и существовали вне меня. Здесь же я дерзнул изобразить самого себя, описать свои личные переживания как человека и еврея. Скорее всего, я испугался, растерялся.

Боже мой, неужели все это так? Вот я и докопался до причины кризиса. Или я ошибаюсь?

Моя дорогая Хана, я ничего не знаю точно. Знаю лишь: чуть-чуть облегчил сейчас свою душу. Ведь я одинок. В своем творчестве я ужасно одинок. Может быть, острее всего ощущаю это теперь, когда не в состоянии работать. Я должен поблагодарить Вас, мой Добрый ангел: Вы дали мне возможность на мгновение убежать от моего проклятого одиночества. Я благодарю Вас, Хана, и прошу прощения за то, что до сих пор не писал Вам. Теперь, я надеюсь, Вы поняли причину моего молчания. Будьте спокойны: Ваша волшебная коробочка стоит у меня на письменном столе и ждет. Ее еврейские буквочки-жемчужинки подмигивают мне, зовут... Может быть?

Может быть, придет счастливый час, когда они начнут танцевать свой танец. Хана, если Вы верите, что есть Бог на небе, божественная сила в нас и вокруг нас, то попросите, чтобы Он дал мне здоровья и терпенья.

Благодарный Вам Янкель Йосаде».

* * *

В сущности, к этим строкам нет нужды ничего добавлять. Разве что одно: в конце концов кризис разрешился — *й* снова обрел голос.

Он стал писать по-литовски. А идишь? Язык, как и человек, иногда не прощает отступничества.

| ...Перед захлопнутой дверью

8 августа 92 г.

Многие евреи его не любят.

Многие литовцы его хвалят.

И те и другие слишком плохо его знают.

й понимает: его заставляют играть чуждую ему роль:

— Одни хотят, чтобы я произносил обвинительные речи, другие — оправдательные. А я, как вы знаете, вообще ненавижу речи. Сколько их произнес за всю жизнь — две, три?

* * *

По сути, ему интересна не проблема «евреи и литовцы», о которой мы говорим часто, но таинственная, запутанная жизнь национального сознания. Любого. Еврейского, литовского, русского, польского...

При советской власти об этом молчали. «Вопрос, на который в нашем доме наложено табу», — говорит Леокадия, героиня пьесы *й* «Захлопнутые двери». А сам автор добавляет в нашей беседе: «Глупо измерять силу национального чувства. Но вот направить ее можно... Когда-то это гениально сделали основоположники сионизма, сравнительно недавно — создатели «Саюдиса». Их опыт еще по-настоящему не осмыслен в Литве».

* * *

6 июня 95 г. Я перечитал пьесу, над которой *й* работал четыре года (с 81-го по 84-й). Вошел в подзабытую уже атмосферу долго сдерживаемой, сдавленной, точнее — подавляемой национальной стихии. Говорю *й*:

— Похоже на атмосферу парового котла: вот-вот взорвется.

— Так ведь взрыв и произошел. В результате исчезла огромная страна. СССР.

Задача *й* тем более сложна, что он рассматривает национальный конфликт внутри одной семьи. Отец. Мать. Дочь. Сын. Что мешает им жить? Ложно понятый интернационализм.

* * *

Когда национальное чувство загнано в подполье, оно и впрямь деформируется. Директору завода Витаутасу Марукасу кажется: он

придавлен «тайной», о которой не подозревает никто. Даже самому себе он долго не решается признаться:

«Свой национализм я впитал с молоком матери... Это нехорошее слово, оно режет слух, но, в сущности, оно означает... любовь к земле, на которой я живу: к деревьям, к траве, которая растет на ней. Для меня они самые красивые... Я хочу обманывать себя... И я обманываю себя... Как я обманываю себя, что мы, литовцы, более трудолюбивые и более способные, и лучше других... Хотя знаю: в моем народе много лентяев и негодяев».

Вглядываясь в себя, Марукас мучительно пытается докопаться до правды:

«— ...Как только я встречаю русского, который умнее меня, или еврея, более способного, во мне пробуждается...

— Что? Что пробуждается?

— Прежде всего обида, которая вскоре перерастает в зависть.

— И дальше в ненависть, да?

— Я сдерживаю себя. И мне это удастся. Почти всегда. Но затем долго еще тлеет там внутри... что-то похожее на злобу, неприязнь к тем, кто эту зависть во мне разбудил».

* * *

Эти признания звучат наивно, почти пародийно? Но не забудем: действие происходит в Каунасе в семьдесят третьем году. Столь же однолинейно мыслят герои Дж. Оруэлла, О. Хаксли — герои, которые, сбрасывая с себя гипноз фальшивых лозунгов, начинают осмысливать свою жизнь в тоталитарном государстве.

Я опять думаю о судьбе некоторых пьес *й*. Жаль, они не были поставлены и напечатаны вовремя. Может быть, взбудоражили бы общество, стали бы катализатором осмысления «больных» проблем. А сейчас? Те же «Захлопнутые двери» кажутся мне прежде всего дневником автора, написанным в форме диалогов.

В моем собственном — сибирском еще — дневнике есть несколько страничек, посвященных пожилой еврейке, учительнице музыки: ее мучает непонятная ненависть к собственному народу. «Пыль, — говорила она мне. — Евреи — это пыль, скопившаяся в разных углах мира. Пыль, которую рано или поздно сотрет история».

Антисемитизм, встречающийся среди самих евреев, не так таинствен и непонятен, как может показаться. Это противоестественная, но вполне объяснимая реакция загнанного обстоятельствами человека. Однажды он как бы отделяется от еврейства и начинает ненавидеть соплеменников (они якобы виноваты в его бесконечных неудачах), а иногда — странно абстрагируясь — не может выносить самого себя.

Участь Берты Наумовны была горькой. Однажды перестала выходить из дома. Потом не смогла смотреться в зеркало: не могла видеть свое лицо. Обычное еврейское лицо.

...Оказывается, тот же феномен «еврейского антисемитизма» хорошо знает *й*. Тем же мучаются герои его пьесы.

«Я не еврейка. Не еврейка, вы слышите! Поэтому я требую от вас... Я не желаю ни малейшего намека...Чтобы меня ненавидели и наказывали... не за свои грехи! Я к ним никакого отношения не имею. Меня ничто с ними не связывает».

Это жена Марукаса, Мария. Передовая учительница, «убежденная интернационалистка». Ах, как стесняется она своего подлинного имени — Мириам. Ах, как хочет быть литовкой. Ее биография — за пределами пьесы. Легко догадаться: девочку спасли во время войны, прятали в каком-нибудь тайном убежище. А может быть, она легально жила по документам христиан... Мне кажется, этот психологический тип не слишком характерен для литовского еврея (зато как характерен в России!), но я знаю *й*: он наверняка встретил Марию-Мириам в жизни. Может, на своей улице?

* * *

Антисемитизм разъедает души детей Марукасов. Все тот же круг. Сын, Юргис, несколько лет подряд не может поступить на медицинский факультет. Сначала он ненавидит профессора-антисемита. А потом начинает стыдиться своей внешности, «горбатого носа», собственной матери:

— А ну, давай, встанем к зеркалу и посмотрим... Если я не похож на тебя, то на кого же?

Его гнетет и другое:

— ...Почему я должен об этом молчать? Почему я не могу этого рассказать даже вам, моим самым близким людям?

* * *

12 сентября 95 г. Да, пьеса *Й* — свидетельские показания. Фиксация нигде не запечатленных психологических процессов. Точен ли *Й*? Бесспорно. Я и сейчас сталкиваюсь с тем же феноменом. Дочь В., ребенок из смешанной семьи, говорит на днях:

— Ну как же это страшно — быть евреем!

| Тайники

Среди прочих забот *Й* долгие годы остается такая. Прохаживается ли он по своей квартире, прогуливается ли по двору, покупает ли что-то из мебели, один вопрос — всегда перед ним: нельзя ли здесь устроить тайник?

Тайник должен быть простым, доступным. Но прежде всего — надежным.

Й ставит себя на место сотрудника госбезопасности. Вот входит в помещение. Вот начинает искать. Что сразу привлечет внимание? Какие возникнут подозрения?

Он раз и навсегда определяет места, куда что-либо прятать глупо: гараж, веранда, антресоли, подвал, спинки диванов и кресел, банки с крупой... Туда прячут все!

Впрочем, важно уточнение: что ты хочешь спрятать? надолго ли?

— Одно время (в семидесятые годы) я прятал пишущую машинку с еврейским шрифтом. Но я прятал ее, если так можно выразиться, поверхностно. Попечатав часок-другой, убирал машинку от любопытных глаз — нет, уже не от сотрудников, но от агентов КГБ, которые могли быть среди моих приятелей. Я предупреждал возможные вопросы, шушукания, донос: Йосаде — сионист.

Иное дело — рукопись. Ее лучше всего прятать среди бумаг. Например, в папке с двойной обложкой. Еще совет: самые опасные, компрометирующие страницы можно из рукописи изъять — их, в конце концов, восстановишь потом по памяти.

Очень важный фактор — характер времени. Пятнадцать лет я прятал свои автобиографические записки. Любые изменения в Кремле, смену шефов КГБ он примеривал к своей трэфной работе: надо ли перепрятать заново? А может быть, уничтожить вообще?

Изобретал все новые и новые тайники. Перекладывал рукопись с места на место. Заставлял — в свое отсутствие — то же самое делать жену.

* * *

«Я помню, как закончил пьесу “Синдром молчания”. Сказал себе: “Дома ты не имеешь права держать подобный текст. Его надо спрятать особо тщательно. Причем за пределами квартиры”.

Но кому, куда отдать? Думаю об этом долго. Анализирую все свое окружение. И вдруг догадываюсь: один из моих друзей — информатор КГБ. Это может мне повредить? Конечно. Но я решаю: именно он и должен помочь!

Я приглашаю этого человека вместе с женой в гости. Читаю им пьесу. Потом — ужин, неторопливая беседа. Тут-то и говорю:

— Видите, друзья, какое родилось у меня дитя. Нам опасно быть рядом. Ведь я еврейский писатель, мало ли какие события нагрянут, вдруг — обыск? Словом, не могли бы вы меня выручить, взять эту рукопись? Ты, — обращаюсь к агенту КГБ, — не связан с еврейской культурой, никому даже в голову не придет искать у тебя.

Мой расчет оказался точным. Отказать ему уже неудобно. Был ли риск, что донесет? Нет. Ведь я четко предупредил: ты — единственный, кто знает о пьесе.

Следующую свою работу из еврейского цикла “Захлопнутые двери” я тоже хранил у него. Это был мой самый оригинальный, самый надежный тайник».

| «Разве важно, на каком языке писать?»

Так убеждает себя *й* в течение многих лет. Его доводы:

— ...У каждого народа (у каждого без исключения!) язык — основа существования, основа культуры, суть национального начала. А у евреев? Нет, нет! Несколько тысяч лет мы меняем свой язык. И оказалось, для нас это не главное. В еврейском писателе запрограммирован не язык — наша история.

— ...Вы хотите сказать, что, уйдя в литовскую литературу, вы остались еврейским писателем?

— А как же! Я остался евреем.

* * *

«Что-то особенное есть в самом взгляде еврейского литератора на мир!»

Примечательно: это говорит не *й* — один из его приятелей, литовец. Театральный критик.

Он сидит в кресле, подыскивает все новые и новые аргументы. Наконец, предлагает:

— *Йосаде*, у тебя большая библиотека. Хочешь, мы проведем эксперимент? Открой любую книгу, дай прочесть мне небольшой отрывок. Совсем небольшой, чтобы я не мог догадаться, кто автор. Угадаю другое: его национальность, точнее — еврей он или нет.

Вспоминая тот вечер, *й* разводит руками:

— Я доставал с полки одну книгу за другой. Он читал... Три-четыре-шесть строк. Представьте, он не ошибся ни разу!

й добавляет не сразу:

— Наверное, вы догадались: мой приятель был «немножко антисемитом». Мы встречались с ним часто. Мы были интересны друг другу. Но скажите, дорогой мой, все-таки: чем же отличается взгляд еврейского писателя на мир? (10 декабря 90 г.)

| Последний еврей

й много говорит на эту тему. Она, конечно, не сводится к истории пьесы, которая сначала называлась именно так, а потом стала называться иначе — «Прыжок в неизвестность».

* * *

2 сентября 91 г. «Началось все с одного разговора. Иосиф вернулся из Израиля. И вот звонит мне жена Г.: «Каковы его впечатления?» Я ей: «Есть плюсы и минусы в тамошней жизни, к тому же сын не собирается никуда переезжать». — «А как вы относитесь к Израилю?» Я (понимая направление ее мысли): «Знаете, пришла старость, поздно что-то менять. А когда я был там три месяца, у меня возникло впечатление: в Израиле рождается новая нация — израильтяне. До сих пор,

в течение тысячелетий, мы были евреями. Теперь в Израиле будут жить израильтяне... Разница принципиальная». Г. не поняла меня. А я не стал разъяснять. Положил трубку. Несколько дней мучился: почему я раньше так четко не формулировал это для себя? Да, в истории евреев начинается новая эра. А еще дней через десять решил: об этом надо писать пьесу. Рождение нового народа, как и нового человека, — всегда драма».

* * *

Мне трудно сейчас переписывать наш диалог с й (я не согласен со многими его мыслями). Разумеется, это не имеет никакого значения для нашей работы.

« ...Вы удивитесь: мой герой — антиизраильтянин. Израиль — трагедия для него. Эта идея парадоксальна? Что ж, парадокс горек. Макс Перас (так вначале зовут героя. — *Прим. Е.Ц.*) борется против израильтян, но... за еврейское начало, еврейский менталитет. Что это значит? То, что для героя важнее всего справедливость, дух Десяти заповедей.

— А разве в Израиле нет справедливости?

— Конечно. Нигде в мире нет справедливости. Ни в одном государстве. Вот и еврейский народ в Израиле превращается в такой же народ, как остальные.

— А еврей, живущий в диаспоре, часто униженный, терпящий оскорбления, — разве он несет справедливость?

— Разумеется! Именно в силу постоянного унижения — в течение тысячелетий — у евреев развился инстинкт справедливости. Нести справедливость стало нашей миссией. Потому-то евреи так многого достигли. Конечно, католицизм и другие религии — тоже за справедливость. Но справедливость, утверждают они, чаще всего приходит после смерти человека. Еврейство же всегда ставило вопрос о торжестве справедливости сегодня, сейчас. Оттого мы боролись и боремся

за справедливость. Увы, иногда в процессе борьбы искажается сама идея. Так было во время многих революций, в период «строительства коммунизма»... Но в целом чувство справедливости у нас, что называется, в крови. А Израиль? Там жестокий мир. Как и в Америке. Как почти в любой другой стране. И даже больше. Ведь на Ближнем Востоке действует фактор силы. У еврея там часто нет выбора: против него всегда стоит араб, готовый выстрелить. Впрочем, снова подчеркну: там не евреи — израильтяне».

* * *

Теория *й*, разумеется, не оригинальна. Знает ли он об этом? Впрочем, я не хочу мешать развитию его замысла.

* * *

Рассказывая о будущей пьесе, *й* запомнил: прошло почти шестьдесят лет с тех пор, как он впервые противопоставил понятия: еврей в диаспоре и еврей, живущий в национальном государстве. Легко нахожу в своих записях такой его монолог:

«...Как далеки сейчас от нас споры и конфликты, которых немало было в предвоенные годы в еврейской среде. Вспоминаю один из «вечных споров». Между теми, кто возродил древний еврейский язык, и теми, кто противопоставлял ивриту язык диаспоры — идиш. Естественно: люди, мечтавшие о еврейском государстве в Палестине, хотели объединить соплеменников с помощью общего языка. Им был иврит.

Эта проблема коснулась меня еще в школе. Я уже решил стать еврейским писателем. Но вот досада: во всей округе не было гимназии на идиш. И у нас в Калварии, и в других, соседних, городках — гимназии на иврите. Между прочим, все в школе знали: я не участвую в работе сионистской организации, а кроме того, сочиняю рассказы на идиш. Но до поры до времени никого это не интересовало.

И вот шестой класс, конец учебного года. Нам предстоит писать сочинение. Тема хранится в тайне. Придя утром в класс, мы эту тайну, конечно, узнали. Тема была сформулирована примерно так: “Что я хочу сделать для своего народа?”

У каждого из нас — по три часа. За это время я написал страниц восемь. Не знаю, что толкнуло меня сказать правду — все, что думал. Моя жизнь, признался я, будет посвящена утверждению культуры и языка идиш, а значит — объективно — борьбе с сионизмом.

Прошло еще два или три дня... В класс входят директор гимназии и учитель литературы. Раздают сочинения. Слышу:

— Йосаде, встань! Вот твоя работа! “Отлично” за язык и “плохо” за содержание.

Никаких комментариев. Я тоже молчу. А перед тем, как мы расходимся по домам, меня приглашают к директору. Он откровенен:

— Писать вы, конечно, умеете. За это получили “отлично”. Но подумайте: есть ли у вас моральное право учиться в нашей гимназии? — Директор добавил: — Гимназия и существует в основном на пожертвования сионистов. “Двойку” мы вам не поставим, но я вас очень прошу, Йосаде, в следующем году пойдите в другую школу.

Когда я рассказываю обо всем отцу, дома разгорается скандал. Что делать? Я же и нахожу выход. Самая близкая гимназия на идиш — в Укмярге. Туда меня и посылают учиться».

* * *

— ...Значит, ваш герой считает необходимым тяжкий путь евреев в диаспоре?

— Он хочет, чтобы не пропали, не исчезли результаты тысячелетних поисков. Наши предки искали справедливость, культивировали истинную духовность. Сколько гениев дали евреи миру на этом пути!

— ...Таким образом, герой оправдывает врагов евреев? Преследования инквизиции, ужасы Второй мировой войны...

— В какой-то степени, считает Макс, это было необходимо. Даже Освенцим. Макс дойдет в своих рассуждениях до абсурда. Тогда он и станет подлинным героем! Дон Кихотом. У него будет много врагов. Его рассуждения выглядят страшновато? Что ж! Нас ненавидели и ненавидят именно из-за поисков справедливости. За эту нашу духовную работу.

Словом, мой герой — последний еврей. Замечательное название, правда? Я пишу о вырождении еврейской идеи — о подлинной еврейской трагедии.

В Израиле пьесу, конечно, встретят в штыки. Во всем остальном мире — тоже. Кто-то скажет: «Опять еврей! Опять носится с собственными проблемами». С интересом прочитают пьесу антисемиты. Воскликнут: «Вот видите — евреи хотят править миром. Хотят переделать нас по своей колодке».

Это будет страшная пьеса. Если я успею, конечно, ее написать.

— Вернемся от вашего героя в вашу собственную жизнь. Вы оба в чем-то потеряли себя. Прятали свое еврейство. Разрушали свой талант. А теперь оказалось: осмысляя эти потери, вы многое поняли не только в себе...

— Так ли это? Не знаю. Тут начинается ваша работа. Я знаю другое: все смеются над справедливостью, а человечество без нее не выживет.

* * *

В окончательном варианте пьесы героя зовут иначе: Йонас Сакалас. Размышления *й*, которые он сначала хотел вложить в уста Макса, ушли куда-то, почти исчезли из пьесы. Все же иногда, читая ее, слышу голос *й* — нахожу потом почти дословные совпадения в своих записях:

«...Где я их только не встречал — на улицах, на площадях, на каждом углу. Юношей и девушек с автоматами в руках. Не такие уж малорослые,

как казалось, — высокие, мускулистые. Без них Израиль сегодня бы не существовал. Всюду — культ силы».

Однако *й* по-прежнему хочет видеть евреев, как на полотнах Марка Шагала, — уносящимися в мечтах над местечком.

* * *

И снова: «Израильтяне — другой народ. Там — уже не евреи...»

* * *

А может, все проще? И он говорит об этом с одной целью — оправдать собственную жизнь. Такую, какой она получилась. Трудно умирать с мыслью, что ты ошибся.

| Человек и вещи

«Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит...»

При «свете смерти» *й* в разных вариантах повторяет эти слова Екклезиаста.

* * *

Тогда что же для него вещи? Например, старинная мебель, которую *й* тщательно — полвека — собирал?

* * *

АУРА. Цикл его устных рассказов (один из них, впрочем, опубликован в газете «Летувос ритас»). *й* утверждает: вещи создают особую ауру, в которую он умеет погружаться.

Вот большой стол: за ним *й* проработал много лет. Когда-то стол был куплен на Калварийском рынке. Продавец объяснил:

— Стол принадлежал моему соседу-еврею. Тот был портным. Помню, он вечно что-то напевал... Пока не погиб в гетто.

Схож с этой новеллой рассказ о диване, привезенном из Калварии:

— Увидел его в каком-то доме. Узнал. Диван стоял раньше в комнате моего близкого друга — мы сидели за одной партией, а на этом диване он учил меня курить. Я долго не мог примириться с тем, что почти ничего не знаю о смерти друга во время войны. А диван? Упротил. Мне его продали.

* * *

Однако вполне возможно: остальные рассказы *й* просто придумал — о маленьком секретере XIX века... о стуле с дворянскими гербами... о кресле-качалке... об ореховом столике, сделанном из одного куска дерева... Кроме конкретных сюжетов, в этих рассказах присутствует один важный для *й* мотив: вещи были куплены им случайно, за бесценок, или — найдены на свалке. Таким образом, это всегда еще рассказы о самом *й* — его находчивости, смекалке, тонком эстетическом вкусе.

Бесспорно в его словах другое: *й* чувствует «дыхание» каждого предмета, его «характер».

* * *

...Янтарный перстень на мизинце. Знак «аристократизма»? Скорее всего, янтарь помогает *й* сосредоточиться, уйти в другое время.

* * *

Вещи как символ пропавшей жизни.

* * *

ШУБКА. «...Я отыскивал после войны в Калварии тени моих родных. Так однажды и постучался в дом одной женщины-литовки. Она работала у отца на фабрике. Работала так долго, что и не знаю сколько.

Она по-особому была близка нашей семье. Я помню с детства: каждую пятницу, перед Шабатом, она приходила делать уборку.

Так вот, я не сомневался: уж она-то должна что-то знать о судьбе моих близких, о том, как тянулись для них эти несколько месяцев — до расстрела, до 30 августа 41-го.

После войны ей было шестьдесят или шестьдесят пять. Я увидел перед собой серое измученное лицо. Дома, кроме нее, никого не было: муж умер, а дочь куда-то ушла.

Она так хотела угостить меня чаем. “Нет, нет, ничего не хочу — только рассказывай...” Кое-что я, действительно, от нее узнал. К примеру, о том, как ночами носила моим хлеб или что-нибудь еще из еды...

Ее рассказу помешала соседка — вызвала в сени. Что толкнуло меня в этот момент подняться со стула? Что заставило вдруг открыть дверцу шкафа?

Я сразу увидел котиковую шубку моей сестры. И тут же закрыл дверцу. Повторяю, сам не понимаю, почему сделал это. Может быть, женщина думала все время о висящей в шкафу шубке, о том, что не дай Бог... И мысль ее странным образом передалась мне.

Когда она вернулась, наш разговор увял. Вскоре я от нее ушел».

* * *

й часто видит перед собой эту шубку. Для него не имеет значения даже то, как вещь сестры попала в чужой шкаф. Она могла быть подарена, могла быть обменена на продукты. «Главное — это вещь из другой жизни — той, которой уже нет».

* * *

ДИСТАНЦИЯ. В молодости ходил й в костюмах из английского шевингтона. Особенно любил материал в клеточку, «вообще был щеголем».

Но бывало и так: однажды пришел на вечеринку в дом писателя Меера Елина в старом разорванном пиджаке.

— Зачем ты это сделал, Яша? — спросила жена.

— Я хотел, чтобы они сразу обратили на меня внимание.

Это, конечно, только подчеркивает его — бывшее уже — неравнодушие к одежде.

А в старости — почти всегда в одном и том же светло-коричневом свитерке, в толстой вязаной кофте, похожей на женскую, в синем махровом халате.

* * *

ВЕЩИ НЕ ИМЕЮТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ? Как и деньги — «ерунда». Но я, конечно, не могу отнестись к словам *й* вполне серьезно. Уже много лет семью содержит доктор Сидерайте: с молодости работает на две ставки (поликлиника, больница, «скорая помощь»), а уж к старости — частный прием.

* * *

Бессребреник. Но другим почему-то «не разрешает» этого. Испортил вконец отношения с профессором Х. П. Тот — «умница, душа-человек, друг семьи» — прислал из Москвы в подарок столь желанный для *й* двухтомник Ницше. А *й* в ответ ему — деньги. Х.П. возвратил их немедленно. Словом, заработала почта. Сколько истратили они на одни переводы?

* * *

Но может быть и другое объяснение этой истории. *й* не любит принимать подарки. И сам никогда ничего не дарит. Почти.

— Что подарил он мне за эти полвека? — припоминает доктор Сидерайте. — Три шелковых шарфика... Один, черненький, шелковый, вы знаете, я его ношу всегда... И ночную рубашку. Кажется, все.

| Человек и время

«Мало кто из людей умеет быть старым» (Ларошфуко). Для *й* талант «быть старым» означает: приблизиться к смерти, оставаясь молодым.

* * *

АРХИВ. Для чего *й* собирает много лет все это: варианты пьес, прозу, дневники, газетные вырезки — для чего? Очевидный, но не точный ответ: *й* якобы очень высоко ценит свое творчество...Точнее другое:

— В архиве прошедшее время еще продолжает быть настоящим.

И еще:

— Важно видеть путь.

й понимает, что немало блуждал, уходил в сторону, возвращался назад... Но уничтожишь следы ошибок — и будто ничего не было. Пустота. Мертвое время.

* * *

— Представьте себе, я считаю полезным раз в несколько лет перечитывать свои статьи и рецензии конца сороковых годов. Они не дают забыть: я находился под сильным влиянием выступлений А. Жданова. Что было в этих речах, кроме догм? Теперь я пожимаю плечами. Но тогда мне казалось: вот они, горизонты нового искусства. Это была моя Библия! (19 ноября 91 г.)

* * *

Или все та же повесть «Бдительность». Работая над нею, признается *й*, он вдруг увлекся. Однажды... сам поверил в свой замысел, в то, что действительно хочет разоблачить происки сиониста-подпольщика... (14 ноября 92 г.)

Истории его литературных ослеплений.

* * *

За многие века наша культура выработала колоссальное уважение к продукту человеческой мысли — художественному произведению. Но уважаем ли мы самую мысль? Сегодня ученые доказали: мысль можно даже взвесить. Однако вглядываемся ли мы в ее рождение, внезапные скачки, парадоксы?

Он показывает мне записи к пьесе «Прыжок в неизвестность» — записи, вроде бы не связанные с сюжетом. О структуре материи, единой модели Вселенной...

— Я все еще учусь думать, — говорит *Й.* (октябрь 91 г.)

* * *

Письма. Разобраны им по десятилетиям, адресатам. Письма почти напрямую фиксируют мысли и чувства. Именно то, что время наиболее беспощадно стирает.

* * *

Разумеется, время (за ненадобностью?) стирает и слова, события... Когда по моей просьбе *Й* прослеживает какую-то тему в ее развитии на протяжении десятилетий, оказывается: часто стерты бесследно — не дни, месяцы — годы.

Так почти «потерялась» тема жертвоприношения. «Я думал об этом с юности». А вспомнил он только свой предвоенный рассказ.

...Рассказ о художнике, убежденном социалисте, который пишет портрет президента Сметоны. Пишет с одной целью: сжечь потом публично — на Зеленой горе в Каунасе — этот портрет диктатора, выразить таким образом свой протест.

Однако автор вкладывает в картину так много вдохновения, таланта, так много угадывает в душе героя, что работа эта становится его исповедью — лучшим произведением художника.

У *й* было два варианта финала. Первый: художник сжигает картину, принося в жертву революции свое искусство. Второй вариант: художник оставляет картину, выходит из партии. Жертвует ради искусства идеалами. (5 ноября 90 г., 9 августа 95 г.)

* * *

ЕГО ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ВРЕМЕНЕМ. «В пятнадцать лет я был стариком. Все по той же причине: утром не знал, что буду делать днем и вечером. Время текло сквозь пальцы. Время, точно река, несло меня по течению». (23 февраля 94 г.)

Когда мы познакомились в 90-м, я увидел молодого человека, которому шел восьмидесятый год.

Он уплотнял время, наполнял его работой («Я точно знаю, когда работа идет хорошо: тогда я не замечаю времени...»).

* * *

СЕТИ. *й* смотрит куда-то в пол. Говорит то, чего я совсем не жду от него (он обычно это скрывает):

— Я родился не в то время и не в то время писал. Дважды бы десятилетиями раньше или позже...

Замечает мое удивление:

— Да, я никогда и ни о чем не жалею, но я не могу не думать о том, как могли бы раскрыться мои способности.

Все же естественнее *й* в другой раз, когда читает мне из Екклезиаста:

«Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадают в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».

Может быть, именно в этих строках видит *й* утешение.

* * *

Как победить старость? Говорю ему: СМЕРТЬ — ЭТО ВСЕГДА КАКАЯ-ТО ОШИБКА человека, которому природа предназначила жить очень долго. Чтобы победить старость, надо преодолеть одно из главных противоречий бытия — противоречие между нашим пониманием временности, тленности всего сущего и нашей стихийной верой в бессмертие. По сути — это противоречие между душой и телом.

— Можно подойти к тому же, но с другой стороны, — говорит *й*. — Нужно исключить из своего сознания понятия «вчера» и «завтра». Нужно перестать сожалеть о том, что было, и перестать обманывать себя мечтами.

Восточная философия, которой *й* никогда не увлекался, утверждает то же самое.

* * *

КЛЕТКА. Не сразу поймешь отношение *й* к той или иной поре собственной жизни. Вот Каунас. Вот последнее предвоенное десятилетие.

Его работа в еврейской печати. Корректор («...я читал газету первым, склоняясь по ночам над влажными гранками»). Репортер («...где только я не побывал тогда — в судах, в полицейских участках, притонах, больницах для бедняков, на демонстрациях, в Сейме). Литературный и театральный критик («...я услышал о начале войны, когда сидел за столом — спешил дать в завтрашний номер отчет об открытии молодежного еврейского театра в Вильнюсе»).

Его увлечения социалистическими идеями.

Его бурные романы.

Его бурное чтение: Ницше, Шопенгауэр, анархисты, Маркс, мировая классика, еврейские поэты...

Его учеба (видимо, хаотичная) в университете Витаутаса Великого.

Его литературное творчество.

Тем не менее *й* говорит: «Я был словно в клетке. Жизнь неслась мимо...»

Верно ли мое предположение? Оглядываясь на те годы, *й* недоволен собой. Сравнивает. Сейчас он наполняет время работой души, а тогда был слишком поглощен собственными страстями. Страсти закрывали от него мир. Сжигали время. (8 сентября 94 г.)

* * *

Из письма П. Флоренского: «...Секрет творчества — в сохранении юности». *й* говорит иначе: «Сохранить в себе творчество — это и значит сохранить юность».

* * *

Когда же *й* начинает стареть в самом деле? Тоже на моих глазах. Время для него вдруг рассыпается, становится тягучим:

— Мне кажется, в моей голове, в моей «коробочке» случилось замыкание. Сегодня утром взял газету. Держал ее в руках, но не читал. Поймал себя на том, что это продолжалось целых пять минут. (23 марта 95 г.)

| «Самое-самое»

Я долго не догадываюсь, почему пьесу «Прыжок в неизвестность» *й* тоже считает автобиографической. Конечно, для него исповедальна здесь тема будущего евреев, дилемма, которую *й* формулирует так: «По какому пути пойдет наш народ? Кем мы станем завтра — израильянами или евреями?» Самому ему страшно стать израильянином, он останется евреем. Последним евреем? Пусть!

Разумеется, мысли эти присутствуют в пьесе, но их, как я уже говорил, оттеснили другие. Теперь пьеса — о генетике. Главный герой —

литовский еврей Йонас Сакалас — хочет воздействовать на ген агрессивности в человеке. Он собирается таким образом перестроить мир.

* * *

Не раз слышу от *й*: «Это мое самое-самое... Наверное, потому так трудно превращается в драму». Слова «самое-самое» относятся в первую очередь не к проблеме людской агрессивности, о чем *й* говорит постоянно в последние месяцы, но к теме «переделки человека», которая волнует *й* несколько последних десятилетий.

* * *

ЕЩЕ ОДНА «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» *й*. Пусть не единственная, но действительно важная. Схватывающая годы, терзания, надежды, обольщения. Его интерес к существованию плоти, к смерти, к метаморфозам духа. Разумеется, я привожу сейчас лишь некоторые записи из своих тетрадей.

* * *

6 ноября 91 г. «Характер человека обычно заложен в его генах. Но характер можно развить. Вот и я далеко ушел от “старта”».

* * *

«Помню себя совсем юным — пятнадцати-шестнадцати-семнадцати лет. Был я очень жизнерадостным — что называется весельчак. Когда приходил в какую-нибудь компанию, сразу попадал в центр внимания.

А что было во мне еще? Импульсивность! Я чувствовал в себе огромную жизненную силу. Однако эта сила несла меня за собой, казалось, без всякой логики.

Я никогда и ничего не планировал. Никогда не знал заранее, как проведу вечер, что скажу, с кем буду танцевать... Не раз бывало: увидев

на вечеринке красивую девушку, забывал о той, с которой пришел сюда. И даже не задумывался: страдает ли она?»

* * *

«Никто и никогда не учил меня работать. Я мог делать только то, что меня увлекало.

Помню, учился в старших классах гимназии. Учеба стоит денег! Отец, обанкротившись, берет, бывало, в долг, чтобы платить за меня ежемесячно. А я — самый последний ученик в классе. О чувстве ответственности даже не подозреваю. Ночами читаю Достоевского. О получаемых двойках ничуть не печалюсь. Открываю первую страницу нового романа Достоевского и — несколько недель не вижу никого, кроме его героев.

Так идут годы. Они не меняют меня. Перед экзаменом (вместо того, чтобы сидеть за учебником) я отправляюсь на концерт приезжей знаменитости. Экзамен проваливаю, но не жалею об этом».

* * *

И не сентиментален. Не любит, подобно многим старикам, поучительные «рассказы о прошлом». Он возвращается в это прошлое, чтобы понять все то же: кто я? откуда? куда все эти годы шел? сумел ли изменить жизнь и самого себя?

* * *

«...Так же импульсивен был и в выборе друзей. Никогда не выбирал их осознанно, но всегда, встречая человека, прислушивался к себе: тянет ли меня к собеседнику?

К счастью, меня притягивал не магнит богатства или карьеры — магнит духовности.

С удивлением сейчас замечаю: будучи весельчаком, сам искал в веселых людях как бы “второй этаж”. Вот мой друг Мойше Аеров. Он

не просто обладал оригинальным юмором — он иначе, чем другие, видел мир. А самый мой первый друг — Рохлзон — открыл мне Гете. Простой паренек, сын часовщика в нашем городке. Никто его не замечал. Однажды я удивился: он читал книгу на немецком.

— Кто это? Гете?

Конечно, в программе гимназии этот автор был. Но то, что «полагается» по программе, казалось мне скучным. Рохлзон прочитал вслух одно стихотворение Гете по-немецки. Я понял примерно половину. И — ахнул!

И начал приходиться к Рохлзону ежедневно».

* * *

й — ВРАГ ЛЮБОЙ СТИХИИ:

— Цивилизация и культура — это, в сущности, неуклонное (изо дня в день, из века в век) преодоление хаоса.

Для него не имеет значения то, что стихия порой выбрасывала его на «берег духовности». Минувшие годы для *й* — годы самопознания, жесточайшего контроля над собой. Я вижу сейчас уже результат: четкий график работы; груды черновиков; мысленные, а иногда и письменные «сценарии» отношений с людьми.

Рациональные построения критики находят и в пьесах *й*. Конечно, пьесам это далеко не всегда на пользу.

* * *

Он, ничуть не стесняясь меня, «расщепляет» свое внутреннее «я» на отдельные составляющие. Непременен вопрос: «Откуда что появилось? Как связано с генами?»

* * *

«...Тяга к духовности. Конечно, это от бабушки!

Мой дедушка — отец матери — был в городке частным учителем немецкого языка. Его приглашали заниматься с детьми богачей. (Тогда

нередко бывало так: девочка не ходит в школу, но учится дома языкам и музыке.) Дедушка не воспитывал меня, тем не менее я всегда подражал ему.

Если же взять семью, где я рос... Нет, ни у кого не было духовных интересов!

Отец — едва грамотен. Он мог занести в особую книгу расходы, записать, кто и сколько должен ему, кому и сколько должен он, мог подписать вексель, составить деловое письмо... В сущности, это все. Я никогда не видел, чтобы отец читал книгу. Разве что просматривал газету по вечерам.

В отличие от отца, мама книги читала. Какие-то сентиментальные истории, сказки.

И никогда не слышал я никаких «абстрактных», философских разговоров между родителями».

* * *

«Отсюда — гены! — и мучившие меня страсти.

Другой мой дедушка — отец отца — был мельник. Вместе с бабушкой он произвел на свет восемнадцать детей. Помню его уже старым, в костюме, измазанном мукой. Вот он приходит домой, а бабушка набрасывается с упреками:

— Опять девку мял на мешках!

Я — маленький, ничего не понимаю, переспрашиваю: «Почему надо мять девок на мешках с мукой?»

* * *

Так заманчива для него сама идея пьесы. Идея мудрого воздействия на человеческие гены. «Однажды переделать — и все».

* * *

Слова Фицджеральда, в которых по-своему отражен путь всякого таланта: «Жизнестойкость — это не просто умение терпеть, это способность все начинать с самого начала».

Дело, однако, в том, чтобы понять: что такое «начинать с самого начала»?

И в последние пятнадцать лет жизни начал «с самого начала» лепить свой творческий облик. Но еще раньше он «с начала» лепит собственную жизнь.

— Хотите пример? Вот самый свежий. В истории моей болезни в 1985 году появилось категорическое: «исход неблагоприятен».

Чтобы победить смерть, он нашел новый образ и ритм бытия. 18 ноября 91 г. пробуем «реконструировать» вместе с ним этот путь.

* * *

— Я НАЧАЛ ПЕТЬ ПО УТРАМ. Не знаю, как это получилось... Пришло откуда-то свыше. Однажды утром встаю, смотрю в окно: какой прекрасный день! (А день, между прочим, хмурый — гадость!) Выхожу на террасу, снова восклицаю про себя: какая красота! Удивляюсь: оказывается, я живу в чудном месте! Раньше никогда не замечал...

— А что пели?

— В основном — мелодии молодости. Вальсы... Тринк-тринк — бродерлайн — тринк... Еврейские народные песни. Какие-то арии. Пою! И, знаете, вовсе не тихо — в полный голос.

Шутливо предлагаю:

— Может быть, споете?

— Ну, какой из меня Козловский.

* * *

Сначала — наитие. Потом ...

— Я осмыслил этот процесс. И вот уже сам стал корректировать жизнь дряхлого своего организма. Так постепенно я научился петь и одновременно размышлять. Пою — и думаю о своих пьесах, персонажах. Пою на улице. Люди идут рядом, оборачиваются: что за

сумасшедший старик? Понимаю их взгляды, говорю себе: «Опомнись!»
Пять–десять минут сдерживаюсь, но... снова пою.

* * *

Начало октября. Десять часов утра. Прихожу к нему по какому-то делу. Открытая дверь на террасу. *И* одет в тулуп и валенки. «Чем занимаюсь?» Показывает, как, размахивая руками, вышагивает по комнате под музыку Бетховена.

Часто сообщает по телефону:

— Сегодня трижды поднимался на второй этаж. А как же — прогулка!

Или:

— Гулял по комнате, пятьсот метров. (6 декабря 93 г.)

* * *

Рассказываю *И*: по наблюдениям ученых, дольше всех живут дирижеры симфонических оркестров. Классическая музыка не просто гармонизирует человека — она выводит его к новому уровню мироздания. *И* бьет в ладоши:

— Я это знал всегда!

* * *

Бетховен, Моцарт, Шопен. Пластинка, поставленная утром на старенький проигрыватель «Рекорд». Сильнее ли она таблеток? Вопрос для *И* риторичен. Поток духовной энергии легко струится, легко проникает к нему.

* * *

Может быть, самое страшное для него признание: «Я уже не Йосаде... Моя воля сломлена». (4 декабря 93 г.)

Неужели и впрямь закончился для *И* этот опыт «по строительству человека»?

| Круг

Между тем появился фильм режиссеров Дианы и Корнелиуса Матузавичюсов. Главный герой картины — *Й*.

Фильм, бесспорно, имеет отношение к настоящему искусству (не зря получил премии на многих кинофестивалях). Но вот какое отношение он имеет к сегодняшнему *Й*?

Надо подумать. Еще интересней — поговорить об этом с *Й*.

* * *

Название: «Иллюзии». И кадры, один за другим, подтверждающие название.

Ступени огромной лестницы — вот так же холодно открываются перед человеком ступени жизни.

Играющая на скрипке девочка — она пока еще верит в гармонию бытия.

Вечерняя улица; троллейбус, где все так отчуждены друг от друга; лица потерявших себя людей; одинокие окна домов...

Й появляется в кадре, говоря все о том же — о череде собственных бесконечных иллюзий. Все это множество раз записано мной, в том числе — на магнитофонную пленку...

То, что он не признает родины (родина для него — Вселенная). То, что жизнь его — мозаика из самых разных кусочков, между которыми нет связи. То, что он уходит из жизни, так и не найдя ее смысл.

И все тот же рефрен: «Я одинок. Я очень одинок». Его никто не понимает, а если кажется иначе, это — только иллюзии...

В фильме много символов судьбы *Й*. Вот один — дворы и улочки старого города: здесь когда-то обитали евреи. Что осталось от той пропавшей, сгинувшей жизни? Неужели только случайно мелькнувшая в кадре надпись на идиш? Неужели только этот старик-драматург, чьи пьесы, по его же собственным словам, никому не интересны?

* * *

й просит меня посмотреть фильм. Несколько раз напоминает, когда будет показ по телевидению.

Звоню ему сразу после просмотра ленты. Повторяю прилагательные: умная, талантливая, прозорливая.

й согласен. Однако разговор не поддерживает. Потом возвращаемся к фильму еще несколько раз. Понравился ли фильм й?

Вопрос, очевидно, надо ставить иначе: доволен ли он? Да, бесспорно! Очень! Звонки. Пресса. Показалось вдруг: лед его одиночества тает.

Однако мы трое (й, доктор Сидерайте и я) понимаем: что-то важное о нем в фильме все-таки пропущено. Что? Вроде бы мелочь: его утренняя надежда, ежедневные попытки преодолеть забвение и хаос.

й все еще не смирился. Все еще верит: он сам или даже кто-то другой опровергнет его монолог в фильме. Докажет: все было не напрасно.

| В поисках утраченной свободы (начало)

Письмо к дочери. Дата: 15–20 марта семьдесят третьего года.

* * *

Конечно, й не рассчитывал на опубликование этого письма. Ему надо было освободиться от страхов. Очиститься. Выговориться. Попытаться понять: что сделала с ним эпоха и что сделал с собой он сам? Иначе жить было невозможно. Рассказать обо всем по-прежнему никому не мог. А уж записывать на магнитофон й тогда бы не согласился ни за что на свете («верх глупости»).

* * *

Письмо опубликовано в журнале «Пяргале» в 1988 году под названием «Моя тайная шкатулка». По мнению многих, это лучшее произведение *й*.

Что произошло? «Обыкновенное чудо» искусства. Он писал «Шкатулку» с «психотерапевтическими целями». А попутно, почти случайно нашел СВОЙ ЖАНР в литературе.

* * *

Найти свой жанр — это и есть залог писательского самоосуществления. И это всегда так трудно! Самый первый пришедший в голову пример: баснописец Крылов, знавший цену собственному таланту, считал тем не менее: его подлинное призвание — трагедии.

* * *

й тоже ошибся. Начинал с прозы. Потом стал литературным критиком. Затем долгие годы писал драмы. А его жанр в литературе — исповедь (будь то дневник, мемуары или «письма»).

Это то, к чему *й* всю жизнь тянет. То единственное, что сейчас ему по-настоящему интересно. Его привлекает самоанализ, хочется копаться в нюансах, мелочах собственных ощущений.

й никогда не надоедает говорить о себе. «Да, я эгоист! — заявляет он, отвечая на упреки своих близких. — Но это особого рода эгоизм — только сосредоточившись на самом себе, писатель может понять человечество».

В отличие от многих, *й* не боится публичной исповеди. Даже театр так близок ему потому, что на подмостках исповедуются. Наши беседы радостны для *й* все по той же причине.

* * *

Догадывается ли он, как чудовищно ему не повезло? Время, в которое выпало *й* жить, было характерно особым презрением к личности.

Символ времени: уничтожение дневников и писем.

Символ времени: «усредненная серость», так называемый «винтик».

* * *

21 ноября 94 г. «Я и сам знаю, что выхода нет». Это он о лабиринте своих проблем.

ЛАБИРИНТ ИСЧЕЗАЕТ, когда *й* начинает писать автобиографическую прозу. Художественное творчество — это всегда новая реальность. Здесь по-особому живут — уже не вступая друг с другом в спор — все его проблемы, сомнения, страхи. Да и сам творец этой гармоничной реальности не может быть несчастен. Для него наступает очищение. Катарсис.

* * *

Обычно *й* пишет трудно. Большое эссе — 78 книжных страниц — он набросал за шесть дней. Конечно, при подготовке к печати отделявал, шлифовал. И все же в тексте отчетливо различимо легкое, свободное дыхание автора.

* * *

...В его автобиографической прозе нет насилия и над характерами героев, которое я часто нахожу в драмах *й*. Люди здесь живут на редкость естественно. Конечно, зачастую они ошибаются, ломают свою жизнь. Но может ли быть иначе?

Как почти всегда, поступки людей противоречат их целям, мечты — убеждениям.

Вот отец автора. Имея красильню, сушильню, коптильню, он хочет стать крупным фабрикантом — создать фирму, известную всей Литве. При этом не признает бухгалтерию, подписывает, не глядя, чеки. Он верит: кругом — честные люди, никто его не обманет... Этот странный фабрикант живет чувствами, его жена руководствуется логикой. Она

дает мужу верные советы, которыми тот решительно пренебрегает. И это (а не только измена мужа) отдаляет их друг от друга все больше и больше. В конце концов отец автора (как потом сам *й*) попадает в лабиринт. Отчаяние душит его. Он начинает помыкать близкими. («Он феодал, мы — рабы», — фиксирует *й*, не замечая, что ту же систему отношений выстраивает позже в своей семье.)

* * *

Но, конечно, главная удача автобиографической прозы *й* — образ повествователя. «Теряюсь в джунглях внутреннего “я”...»

Загадка притягивает читателя.

| В поисках утраченной свободы (окончание)

...В этом жанре у *й* — безусловность самооценок.

* * *

Увы, ему долго казалось: главное для художника слова — писать о больших событиях, которые происходят на исторических переломах. В архиве *й* хранится рукопись неопубликованного романа на еврейском языке «Честный труд». Автор работал над романом после войны: вглядывался в судьбы евреев-строителей — они прошли фронт, гетто, потеряли близких и все же верят в завтрашний день... Почему роман так и остался в рукописи? Автор не решился заглянуть в души героев.

* * *

Теперь он совсем иначе формулирует задачу творца. Да, надо всмотреться в самого себя; «НАДО СЕБЯ РАСКОЛОТЬ, КАК ОРЕХ, и почувствовать сердце».

* * *

...И здесь бьется все та же, десятилетиями терзающая его мысль: почему я так мало сделал в литературе?.. Кто в этом виноват?

Крупными буквами *й* выделяет главное: «Я НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ». Признается, что с раннего детства ощущал: «...мою свободу ограничивает какая-то вражеская сила. Я чувствовал за спиной ее холодное дыхание».

Проще, удобнее всего было бы связать отсутствие свободы с КГБ или с любой другой организацией тоталитарного общества. Но *й* видит причину глубже... Где-то «в глубине» собственного существа. Опять-таки в генах? Мысль эта еще не осознана *й* по-настоящему. Она только промелькнет в письме...

* * *

Однажды говорю ему: «Наши беседы можно назвать по Прусту — “В поисках утраченного времени”». *й* добавляет: «Так же правильно назвать их: “В поисках утраченной души”».

Сейчас, когда я читаю его письма к дочери и сестре, в голову приходит еще одно уточнение: «В поисках утраченной свободы». Ради этого он и писал.

* * *

СКАЛЬПЕЛЬ. Что привлекает читателей его писем, интервью, воспоминаний? Интонация — спокойно-бесстрастная. Взгляд из «жизненной ложи». Перед смертью *й* говорит все. Не щадит никого. И прежде всего — себя. Многим кажется это пределом самообнаженности и самобичевания. «Больно читать, больно следить за тем, как автор рассказывает о себе самом. Будто скальпелем делает разрез на собственном теле» (отзыв читателя-врача).

* * *

Почему этот скальпель животворен для *й*? Я нахожу ответ в книге нашего современника — мистика и математика, знатока Каббалы и Талмуда раввина Адина Штайнзальца: «Раскаяние позволяет подняться над временем, дает возможность управлять прошлым, менять его значение для настоящего и будущего».

* * *

Только один пример из «Тайной шкатулки». Один эпизод: «МИРАЖ».

«...Тем временем кампания против “убийц в белых халатах” приобретала все более широкий размах. Мучительно потянулись свинцовые дни. Мучительно, в каком-то тумане, таяли бессонные ночи. Сменяли одна другую недели, пропитанные страхом. Пока...

Внезапно в редакции зазвонил телефон. Говорил Палецкис — Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР.

— Йосаде? Приходи в Президиум. Тебе приготовлен пропуск. Сейчас десятый час. Жду тебя ровно в одиннадцать.

Через час я сидел в кабинете президента, у огромного — хорошо помню — блестящего письменного стола. (Почему-то показалось: стол — из слоновой кости.)

— Вот два написанных мной рассказа, — сказал он, словно продолжая ранее начатую беседу. — Оба по шесть страниц. Будь добр, прочитай их, но очень внимательно. А я на десять минут выйду.

Я прочитал. Очень внимательно. На одном дыхании... У меня потемнело в глазах. Передо мной лежали две сценки из жизни гетто. Я увидел голодных детей. Услышал выстрелы, крики. Испуганные люди куда-то бежали, спешили спрятаться... Акция уничтожения. Слезы евреев, муки евреев.

Вскоре Палецкис вернулся в кабинет и сел напротив меня. “Прочел?” — “Да”. — “Как написано?” — “Гм... впечатляюще”. — “Йосаде,

я тебя очень прошу, сделай так, чтобы рассказы были напечатаны в «Пяргале». Я знаю, ты — хозяин там, ты сможешь... Договорились?»

Милая Ася, я вышел из кабинета и еще долго не мог прийти в себя. Я, скорее всего, был похож тогда на эпилептика, который никак не может оправиться после припадка.

«Неужели Палецкис такой наивный человек и сам не понимает, что теперь такую ересь нельзя печатать?» — спрашивал я себя, а в сердце... Признаюсь, хотя я много лет знал этого честного литовца, настоящего интеллигента, у меня возникло мерзкое подозрение: это провокация...

Конечно, рассказы о гетто журнал не напечатал. Вроде бы я их показывал редактору, а может, и не показывал, уже не помню.

По разным поводам мне потом случалось встречать нашего президента в Союзе писателей, но никогда, ни словечком он не намекнул о той беседе.

А вскоре, 5 марта 1953 года, умер Сталин».

* * *

й воскликнул в «Тайной шкатулке»: «Это осталось в памяти как мираж или точнее — спиритический сеанс».

Мне он комментировал тот же эпизод резче: «Очередное ослепление. А в результате я помешал Палецкису сказать свое слово в защиту евреев».

* * *

ДЕТАЛИ. Именно исповедальные жанры — дневники, письма — глубоко, порой неожиданно открывают психологию человека. Это доказывает литературовед Л.Я. Гинзбург в своей книге «О психологической прозе».

Это по-своему доказывает и автор «Тайной шкатулки».

Многие детали здесь по-настоящему многозначны. Я долго не верю в то, что *й* искренне разделял коммунистические догмы. Но вот нахожу в его «Шкатулке» подробность, которую вряд ли придумаешь. Ночами *й* мысленно беседует с первым секретарем ЦК компартии Литвы А. Снечкусом. О чем? О разном, в том числе — о писателях, литературных героях...

* * *

ПИСЬМА БЕЗ ОТВЕТА. Потом, уже после восемьдесят восьмого, *й* создает еще несколько «писем» к дочери и сестре. Теперь писать подобное не опасно. Не опасно и отправлять. *й* в самом деле отсылает эти письма адресатам. Сестра иногда отвечает: «Преклоняюсь перед твоей искренностью». Дочь о письмах отца молчит — будто их и не было. Будто не ей адресованы. Так, в сущности, и есть. Но *й* злит молчание Аси.

* * *

«МОЕ РУЖЬЕ — ПОЛНАЯ ОТКРЫТОСТЬ», — сказал сегодня *й*. Точнее всего это относится к его автобиографической прозе. Жаль, в других жанрах ружье не стреляет. Да и вообще, если говорить о литературе, стреляет редко.

Парадокс: *й* нашел свой жанр. Это подтверждает литовская критика, восторженно отозвавшаяся на появление в печати «Тайной шкатулки». Но что-то мешает *й* сосредоточиться только на исповеди. Что?

Может быть, инерция: как же! он — драматург, он решил написать цикл пьес на еврейскую тему, он должен доказать себе и другим... А может, мешает ложное понимание иерархии литературных жанров: на первых местах жанры крупные — роман, повесть, драма, а мемуары, дневники, письма будто бы ютятся на обочине... К тому же — в последние годы — «нет сил». Последние силы *й* отдает пьесам. Исповедь — в прямой ее форме — удел наших бесед. (1 октября 94 г.)

| Покровы тайны

«В нашей семье много тайных вещей. Все мы друг от друга пытаемся что-то скрыть...»

Это из письма *й* к дочери. Тут нечему удивляться: да, он очень хочет сбросить покровы и с семейных тайн. Проблема (для меня) в другом: до какой степени может дойти его самораскрытие?

* * *

«ГРАНИЦЫ ИСПОВЕДИ» зависят от традиции той или иной литературы. На Западе к «самообнажению» автора читатель относится спокойно. «Спокоен» и писатель. Тот же Руссо, которого я часто вспоминаю во время интервью с *й*, поведал человечеству о таких вещах, в которых люди не всегда решаются спустя годы признаться даже себе.

Между прочим, *й* помнит опыт Руссо. Когда я завожу речь об «Исповеди», он перечисляет многочисленные эпизоды оттуда:

— Воровство... Сексуальные неудачи... Неоднократные предательства (одного своего друга Руссо бросил на площади чужого города, когда у того начался приступ падучей)... «Любовь втроем»... А дети! Дети Руссо, которых с его согласия отдавали после рождения в приют...

Так где же проводит границу между «можно» и «нельзя» сам *й*? Разумеется, граница эта идет для него вовсе не по «линии» секса.

* * *

ПОЛЧАСА ТИШИНЫ. Одну исповедь *й* мне слушать неприятно. Слишком необъективным кажется сюжет: жена *й* — причина многих его бед как писателя; если бы у него была другая жена — занимающаяся литературными делами *й*, хорошо организовавшая его быт и т.д., и т.п., то...

Психологически коллизия ясна. *И* постоянно задается вопросом: почему его дорога состоит из сплошных лабиринтов? Винить во всем время считает ниже своего достоинства («времена чаще всего бывают трудными»). Во многом он винит себя и... жену.

И рассказывает мне, что о своих отношениях с женой написал на идиш большое письмо сестре. Для *И* важно, чтобы письмо попало к потомкам, исследователям творчества, которые задумаются о его литературных неудачах. Однако сестра уже стара, да и хранит ли его письма? Из архива *И* письмо после его смерти тоже может исчезнуть...

Что делать? *И* предлагает продиктовать это «послание в будущее» на магнитофон — пусть будет дополнительная гарантия сохранности.

Он читает минут тридцать. Пленка крутится. Но вот парадокс, с которым я сталкиваюсь уже несколько раз: запись, вызывающая у меня внутреннее сомнение, не получается. Так и теперь. При расшифровке этой пленки оказывается: я записал полчаса тишины.

* * *

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. Имеет ли право мемуарист открывать их, рассказывая о себе? Пусть человека, о котором он вспоминает, уже нет в живых — живы родные: жена, дети, внуки. Кроме того, делясь с кем-то своим секретом, мы подразумеваем: тайна навсегда останется тайной.

Когда-то меня покоробили некоторые страницы прекрасной книги Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Автор сообщает всему свету подробности о самых интимных сторонах семейной жизни Скотта Фицджеральда. Тот мучился, страдал. Наконец, решил довериться другу.

Словно тест, рассказываю эту историю *И*, более того — приношу с собой том Хемингуэя, нахожу нужную страницу... *И* читает вслух, иногда «проглатывая» отдельные фразы и слова:

«...Наконец, когда мы ели вишневый торт и допивали последний графин вина, он сказал:

— Ты знаешь, я никогда не спал ни с кем, кроме Зельды.

— Нет, я этого не знал.

— Мне казалось, что я говорил тебе.

— Нет. Ты говорил мне о многом, но не об этом.

— Вот про это я и хотел спросить тебя.

— Хорошо. Я слушаю.

— Зельда сказала, что я сложен так, что не могу сделать счастливой ни одну женщину, и первопричина ее болезни — в этом... С тех пор, как она мне это сказала, я не нахожу себе места и хочу знать правду.

— Пойдем в кабинет...

— Куда?

— В туалет, — сказал я.

Мы вернулись в зал и сели за свой столик.

— Ты совершенно нормально сложен, — сказал я. — Абсолютно...

— ...Но почему она так сказала?

— Для того, чтобы сбить тебя с толку. Это древнейший в мире способ сбить человека с толку...»

й обрывает чтение. Он молчит недолго:

— ...Хемингуэй идет по лезвию бритвы и — как писатель — побеждает!

К тому же в этом эпизоде — «ключ к трагедии Фицджеральда и его судьбе». Остальное для й «не имеет никакого значения». (11 декабря 94 г.)

* * *

ЛОГИКА УМОЛЧАНИЙ. Он и сам рассказывает обо всем и всех с отчетливой ясностью. Не заботясь о возможных обидах. Не стыдясь самых «стыдных» деталей. Слово делает моментальный снимок в прошлом: это было.

И лишь иногда просит выключить магнитофон: «Подробности не стоит записывать».

Есть ли какая-то логика в этих умолчаниях? Логика ясна лишь самому *й*.

* * *

Вот он рассказывает мне о своих многочисленных романах. Иногда с улыбкой: забавная ситуация! Иногда как бы вопрошая: сейчас и сам не понимаю себя! Иногда с нежностью — была юность... И только в двух случаях *й* говорит: «Если хотите, упомяните об этом коротко. Все остальное унесу с собой».

* * *

Его любовь к поэтессе Лее Рудницкой. «Любовь, которая перемежалась со стихами... Вот, смотрите — фотография Леи — нашел ее случайно, подарили в Израиле...» На любительском снимке — молодая женщина в шерстяном платье и шляпе сидит верхом на коне. «Ну, конечно, Лея погибла. В гетто».

* * *

«До войны я уже был женат... Да, именно так. Это было не просто очередное увлечение. Жили мы в Каунасе — в маленькой квартирке; строили планы, рассчитанные на годы; откуда было знать, что в запасе у нас только несколько месяцев?.. Свадьба должна была состояться в конце лета или сентябре. А пока моя избранница поехала в Калварию — погостить у моих родителей месяц или полтора, понять, что же это такое — еврейская семья.

Да, вы угадали: она была литовкой. Играла в театре. Она погибла. Как? Для меня это и по сию пору тайна. Вернувшись с фронта, я тут же отправился в деревню, где жили родители жены.

— Ничего не знаем точно. Она пропала в первые дни войны.

Я искал долго. Возникали и отпадали различные версии. Самая реальная: ее расстреляли в нашем городке «белоповязочники». За «связь с евреем».

* * *

...Скорее всего, он не хочет рассказывать в деталях эти истории, потому что пока не отстранился от них. Детали по-прежнему причиняют боль.

| Лицо мужчины в старости

18 февраля 94 г. *й* спрашивает по телефону:

— Что вы читали в эти дни?

— Толстого и о Толстом.

— Да, интересно... Какая же мысль Толстого привлекла вас на этот раз больше всего?

Говорю, думая, что удивлю его: мужчины в старости красивее женщин.

й соглашается:

— Старики действительно красивее. Ярче, чем в молодости, виден характер, заострена его суть. А женщины преклонных лет чаще всего смешны: прихорашиваются, но теряют настоящую красоту, искусственно подражают молодости.

Я спорю с ним, защищаю женщин. А он приводит еще один довод — от обратного: «У молодого мужчины лицо молчит».

| «Я понял суть человека»

23 ноября 94 г. Пьеса давно написана. Но *й* никак не может отойти от нее.

«...Внутри все горит. Это огонь творчества. Я моложе теперь, чем в тридцать лет. Мне кажется: я наконец понял суть человека. Вот об этом

стоит писать! И, конечно, по-другому надо взглянуть на собственную жизнь — ее требуется переосмыслить.

К какому выводу в конце концов я пришел?

Человек по природе своей — агрессор. Конечно, он уже догадался: агрессия не приносит счастья. В этом пытались убедить людей Ветхий и Новый Завет... Спиноза... Эйнштейн. Однако слова остаются словами. Парадокс состоит в том, что человек агрессивен как раз из-за своей слабости...

Знаете, какая моя любимая телепередача? «В мире животных». Там все очевидно: если животное встречает более слабую особь, оно нападает...

Где выход? Сильный должен помнить: он — агрессор. И начать сознательно ограничивать себя. Отчасти такое осознание уже есть. Может быть, потому сейчас в мире так распространена филантропия. Но надо идти в этом направлении дальше.

Вот о чем моя пьеса «Прыжок в неизвестность». Вот о чем думает мой герой. Вряд ли эту пьесу поймут и оценят критики. Они мыслят штампами. Да и вообще, люди сегодня заняты сиюминутным.

Мой герой, как и я, одинок. **ОДИНОКИЙ ВОЛК, ОБУЗДАВШИЙ СВОЮ АГРЕССИЮ**».

* * *

Время действия пьесы — 1992-й. Это время и наших бесед с *й*.

Время его тревоги: «Цивилизация у пропасти. Как ее спасти? Извне? Возможно. Но это — научная фантастика. Лучше спасти человечество не извне, а изнутри — перестроив человека».

По сути, *й* давно пришел к выводу: прогресс — иллюзия; «ни Моисеево «не убий!», ни христово «возлюби» не сделали людей добрее. Двадцатое столетие, самое кровавое в истории, убедило нас: слова и пример не помогают». Последняя цитата взята мной уже из его пьесы.

* * *

Где-то читал, что поэта Николая Гумилева потрясли слова из Библии: «Люди — это боги». Человек богоподобен? *й* трактует этот тезис как наше право вмешаться в творчество Создателя. Улучшить, переделать людскую природу. А может быть, начать все сначала.

* * *

1 февраля 94 г. Сюжет пьесы связан именно с этим безумным стремлением героя... Впрочем, при чем тут пьеса! Ведь тем же озабочен — и совсем не умозрительно — сидящий передо мной восьмидесятилетний старик.

Пьеса действительно автобиографична. Когда мы за ужином обсуждаем ее главную идею, аргументы «против» приводит уже не жена Сакаласа (так в пьесе) — доктор Шейна Сидерайте:

— В организме человека всегда существует равновесие. Невозможно что-то просто «отбросить». Иногда врачи специально угнетают одну из иммунных систем больного, это удается с трудом. Организм протестует! Также сосуществуют в мире добро и зло. Уничтожьте зло, что же такое тогда добро?

Порой, говоря о пьесе, она, по-моему, продолжает свой старый спор с *й*:

— ...Ты считаешь: можно что-то «подправить» в человеке. Я отвечу тебе словами Моэма (помнишь его книгу «Подводя итоги?»): легче построить новый дом, чем научить человека высморкаться не так, как он привык.

* * *

Работая над пьесой, *й* оживлен — как никогда еще в дни нашего знакомства. Не перечисляю сейчас: прочитанные им научные труды, встречи — с физиками, генетиками, философами. (Некоторые

становятся завсегдаятами в доме *й*, к другим он идет сам — например, к президенту Академии наук Литвы Ю. Пожеле...) И вот наконец-то *й* может вложить в уста своего героя слова: «...У меня уже накопились доказательства: в агрессивном узле, где, по утверждению большинства ученых, заложены и его творческие потенциалы, — этих потенциалов нет. Ген агрессивности... несет только разрушительное, истребляющее начало. А положительная, творческая мощь человека связана совсем с другим геном».

Какой вывод можно сделать из этого монолога? Эксперимент пора начинать!

| Еще один портрет

Москва, апрель 1992 года. Лаборатория психолога Александра Кроника. Он проводит удивляющие многих эксперименты. «Итак, вы вводите в компьютер основные параметры вашей жизни — даты, события, свое отношение к ним... Компьютер выдает ваш психологический портрет».

Я мысленно ставлю себя на место *й*. Вот главные вехи его биографии. Машина начинает работать.

Наконец, читаю:

«Если вы достаточно полно рассказали о своем прошлом и о том, чего ждете от будущего, то к сегодняшнему дню осуществилось приблизительно 95% ваших жизненных замыслов.

Вы — стратег. События далекого прошлого или будущего для вас важнее текущих забот, близки, словно сегодняшний день. Ваша жизнь подобна могучей реке, которая несет свои глубокие воды через просторные поля и луга.

Вы умеете не заострять свое внимание на жизненных трудностях, многие из них считаете даже надуманными. (...)

Вы очень эмоциональный человек. Страсти, сильные положительные и отрицательные эмоции, перепады настроения — ваша стихия. Скорее реалист, чем оптимист или пессимист — в чем-то жизнь вас устраивает, в чем-то нет.

Вы целеустремленный человек. Предпочитаете планировать, строить жизнь самостоятельно, не полагаясь на естественный ход событий. А планируя свои действия, не всегда удачно выбираете средства для достижения намеченных целей. Вы достаточно тверды и свои взгляды на жизнь считаете, как правило, верными.

Вы — человек духовных поисков. Главное для вас — мир идей и переживаний. Внешние события — только повод для работы вашей души. По-настоящему счастливы бываете наедине с собой, в моменты внутренних озарений и откровений. Познать и понять — в этом видите смысл жизни. Ради духовного роста способны пожертвовать общением с природой, развлечениями и свободным временем, даже работой и деловой карьерой.

В целом ваш стиль можно назвать деятельно-гедонистическим. Это значит, что вы стремитесь прежде всего удовлетворить свои желания, жить «по потребностям», а на этом фоне развивать свои способности, достичь совершенства в том, что считаете своим жизненным призванием».

В том портрете было немало графиков, различных рубрик. Я вспомню сейчас только одну:

«В а ш п с и х о л о г и ч е с к и й в о з р а с т : 79.

Сегодня вы оказались близки к своему реальному возрасту. Вам удалось соразмерить притязания с возможностями, найти оптимальный для себя темп жизни. Сохраните этот оптимум в будущем!»

...Приехав в Вильнюс, читаю *й* итоги его жизни, «подведенные» компьютером. Почему-то его мало волнует эта игра.

— Да, да. Сделайте мне, пожалуйста, копию для архива.

И все. Наверное, дело в том, что в «портрете» отсутствует одно важное для *й* слово — Смерть. Подлинный фон и смысл теперешней его жизни.

| Вечерний свет

Долгое время он считает: мне трудно, а может быть — до поры до времени — невозможно его понять. Понять сложность его пути, раздвоенность. Отсутствие выбора.

— Ваш опыт, мой дорогой, — это опыт соприкосновения с великой русской литературой, а она всегда неустанно твердила: писатель — учитель жизни, он несет читателю нравственный идеал... Я же никого не учу — сам еще ученик. Никому и ничего не несу, в том числе — идеалы...

* * *

В конце концов тема «непонимания» уходит куда-то на дальний план наших отношений. Почему не исчезает вообще? *й* хочет поскорее увидеть мою книгу о нем, а раз я такую книгу еще не написал, значит — все-таки «не понимаю»...

При этом он скоро убеждается: меня как литературоведа волнуют вовсе не «идеалы», но лаборатория художника слова, психология его творчества. *й* говорит это, прочитав мою книгу «Писатель в провинции» (Москва: Советский писатель, 1990). Позже он увлекается моим замыслом написать эссе «Художник в старости, или Вечерний свет».

— Так вот же ваш герой. Это я. Вот объект исследования. Это я. Спрашивайте...

* * *

«ВСЕ ПО ФРЕЙДУ, ПРАВДА? Работа — самое святое для меня. Ради нее живу». Когда *й* повторяет это сегодня снова, я вспоминаю: в письме *й* к сестре, снисходительно говоря о Еве, о том, что та была в жизни отца «лучом света», *й* обронил: «Я похож на отца. Для меня Ева — моя работа». Так называемый эффект замещения. (8 сентября 93 г.)

* * *

ГЛУБИННЫЙ РАЗУМ. Писатели рано или поздно открывают его в себе. Некоторые называют это вдохновением, другие — прозрением. *й* ловит подсказки подсознания ночами.

Просыпается. Лампу не зажигает. («Лампочка зажигается внутри меня».) Торопливо записывает отдельные слова. («Бумага и ручка лежат возле кровати, на столике, — чтобы долго не искать. Иногда я пишу, даже не открывая глаз».)

— Я живу так много лет. Но теперь эта привычка все мучительнее для меня. Проснувшись ночью, с трудом засыпаю снова. Днем — вялый, разбитый. (7 ноября 91 г.)

* * *

РИТМ ЕГО ЖИЗНИ именно таков — болезнь, работа, болезнь, работа...

Является ли болезнь следствием работы или работа излечивает болезнь? Не сомневаюсь: верно второе.

* * *

«Самое важное — то, что человек продолжает творить, подобно тому, как женщина продолжает рожать. Человек, покуда он жив, будет писать на клочках бумаги, на лоскутах, на камнях. Человек благороден. Я верю в человека несмотря ни на что».

Это в одном интервью сказал Фолкнер. Здесь каждое слово можно отнести к *й*: в его архиве — множество подобных «клочков бумаги».

* * *

8 апреля 95 г. Все чаще и чаще *й* не может писать. Как всегда, пытается что-то придумать. Ищет, кому диктовать. Варианты отпадают один за другим. Разыскивает — безуспешно — Илону М. (почему-то думает, что она согласится). Пытается диктовать машинистке из еврейского музея, очень внимательной к нему. Однако днем та занята на службе, а вечером — семья. («Увы, мы с ней провели только несколько сеансов».)

И вот пару недель назад начинаю учить *й* работать с японским диктофоном, который без дела лежит у него вот уже несколько лет (подарила подруга Аси из Норвегии). Занятия наши оказываются напрасными. Диктофон *й* с большим трудом осваивает, но... Спрашиваю сегодня: «Сколько вы надиктовали?» — «Нисколько». Что ж, нужна привычка и здесь.

* * *

й мучается. Наконец начинает диктовать жене — уставшей, перегруженной и без того всевозможными делами. Случается, доктор Сидерайте переписывает по нескольку раз одну страницу. *й* удовлетворен: «Вот она и стала моей Софьей Андреевной. Хотя я, конечно, не Лев Толстой».

* * *

Обычно автор радуется, когда выходит новая книга. Ставит точку на прежних замыслах. Иногда вообще забывает о них. Он весь — новые планы. Это я и говорю (в феврале 94 г.) *й* перед выходом его книги «Захлопнутые двери».

— Так-то оно так. Но я освобожусь сейчас не только от старого материала... Работа держит меня на этом свете.

* * *

«ТАЛАНТ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? А значит это — чувствовать острее, смотреть и видеть глубже, чем все обычные люди. Талант — сложный аппарат: сердце, логика, душа... Бог знает, что еще! И к тому же — на этом инструменте надо суметь сыграть». (10 декабря 91 г.)

* * *

СЛАВА. Как приходит она к писателю? Чем он жертвует ради достижения известности? Помогает или мешает ему семья? Роль жены творца в «проектировании» успеха.

Мы с *й* не раз обсуждаем эти темы. Обычные темы в литературной среде.

Необычно другое: *й* вовсе не жаждет славы.

«У писателей (в большей или меньшей степени) развито тщеславие. Почему у меня его нет? Не знаю. Самое важное для меня — выразить то, что чувствую. Свою правду». (6 ноября 91 г.)

* * *

Резко (и без всякой позы) он отказывается поместить свою фотографию в сокровенную для него книгу на еврейские темы.

При этом... очень хочет внимания прессы.

Противоречие? Но только до тех пор, пока я не догадываюсь: это мучительная жажда понимания. Может быть, больше всего *й* мечтает о диалоге с читателем, зрителем, критиком.

— Две мои книги просто никто не заметил... Не было ни строчки в газетах. Мне больно.

Он говорит о своих книгах: «Захлопнутые двери. Письма из Вильнюса в Тель-Авив. Диалоги на эту и другие темы» (Вильнюс: Рош Балтика, 1993); «Прыжок в неизвестность» (Вильнюс: Прадай, 1995).

Тема славы всегда перерастает для *й* в тему преодоления одиночества. В конце концов, в тему преодоления смерти. (8 августа 95 г.)

* * *

УДИВИТЕЛЬНЫЙ АВТОР! Не боится самых резких замечаний. Напротив, рад им. Снова сталкиваюсь с этим, когда критикую перевод на русский язык пьесы «Прыжок в неизвестность». *й* догадывается: в моей критике перевода неуклюже спрятаны замечания автору. Герой выглядит так, точно стоит на котурнах; ремарки слащавы; действие замедленно...

— Дорогой мой, при чем же тут переводчик? Говорите определеннее — я чувствую, вы правы...

* * *

ОН ДУМАЕТ, ЧТО ОДИНОК В СВОИХ СОМНЕНИЯХ. На самом деле — это естественные поиски писателя, естественные его вопросы: как жить, как работать в литературе, если до тебя уже были Толстой, Ибсен, Томас Манн?

* * *

й о себе: «Посредственный драматург», «средний автор», «после моей смерти забудут всё, что я написал». Далее логика его рассуждений жестка: если так, если я — серость, зачем же мучения — жертвоприношение — за письменным столом? Если так, то как же он, должно быть, нелеп в глазах окружающих — даже жены, детей. *й* мучает это. Не зря в письме дочери прорвется не произнесенная ею реплика: «Тоже мне писатель, не Толстой, не Шекспир, даже не Сруога!» — не оправдывайся — если не твои слова, то это твои мысли».

Обычный путь писателя. Но обычен и ответ на эти сомнения: сомневайся, прислушивайся к себе, однако иди дальше. И так — до смерти.

* * *

В октябре 95 г. *й* спрашивает меня (а точнее — опять-таки самого себя):

— Может быть, театры молчат, потому что автору таланта не хватает? Мне страшно.

Сомнения, почти самоуничтожение. Вера в себя, в будущее своих произведений. Все это живет в *й* одновременно.

* * *

— ...Я войду в литовскую драматургию автором пяти пьес о трагедии евреев в Литве.

Он произносит эти слова за ужином. Обкатывает их. Проверяет на звучание. Внезапно смотрит на меня, разгадывая смысл моего молчания — не опровергну ли? А я думаю: наверное, он прав, хотя строки в истории литературы непредсказуемы. Думаю: может быть, он останется в искусстве вот этим огромным напряжением творческой воли, этой вечерней попыткой прислушаться к вечности, к самому себе на пороге смерти.

| Ненаписанные сюжеты

Сюжеты эти мучают автора. Долгие месяцы продумывал характеры, фабулу, делал наброски, работал в архивах, библиотеках... И — что-то не вышло. Нет, ненаписанные сюжеты не уходят от писателя. И он вспоминает о них часто, в том числе готовясь к смерти.

23 февраля 94 г. Сегодня *й* рассказывал о своей ненаписанной пьесе. Главные герои: Сталин и Гитлер. Они встречаются в каком-то бункере, говорят ночь напролет, а затем — целый день. Их беседы — стержень пьесы. Ее завязка: представители обеих сторон готовят помещение для переговоров. Устанавливают (втайне друг от друга) подслушивающие

аппараты. На всякий случай готовятся к «переговорам» и двойники вождей...

— Однажды, — рассказывает *й*, — я прочитал: летом 42-го состоялась встреча маршала Жукова с каким-то фашистским военачальником. Так что мои исторические фантазии были не такими уж беспочвенными.

Он писал эту пьесу в шестидесятые годы. Почему не закончил? *й* не может ответить, вернее — как не раз уже бывало, отвечает вопросом на вопрос: «А как думаете вы?»

— Наверное, все дело в философском вакууме. Пьеса строилась на интеллектуальном поединке. Но поединок этот вряд ли был возможен вообще. О чем могли спорить два злодея? О дележе добычи?

Финал «открыт»: долгие разговоры Сталина и Гитлера заканчиваются безрезультатно, война продолжается.

| Двойное зрение

12 декабря 91 г. Скандал начинается, как обычно. Не потому, что кто-то хочет скандала. Он — в воздухе, атмосфере. Человек еще не может уловить смысл сказанного, но ему уже не нравится твоя интонация...

Все начинается с телепередачи, посвященной еврейско-литовским отношениям перед Второй мировой войной. Кроме *й*, в этой передаче участвовали председатель Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис (в то время — фактически глава государства), писатель Григорий Канович, депутат Верховного Совета, директор Еврейского музея Литвы Эмануэлис Зингерис, еще несколько человек.

Можно сказать: выступление *й* вызывает у многих телезрителей «бурную реакцию» (литовцы бурно хвалят, евреи бурно ругают). Но

лучше процитировать его новое письмо к дочери, которой *й* — как правило — пишет в состоянии духовного кризиса:

«Плохи мои дела... меня загнали в угол. Кто? Не знаю, мне кажется — все. Ты скажешь: чушь, так не бывает, ведь все — ничего не значащее слово, в моем случае — придуманный злодей, который карает неизвестно за что... Коллизия, в которой я очутился, мне кажется исключительной. С литовским евреем никогда еще так не бывало».

Ощущаю его «загнанность» по интенсивности наших телефонных разговоров: три-четыре в день.

* * *

Впервые за последние годы *й* вышел из «ложи», поднялся на сцену. А его забросали гнилыми яблоками.

* * *

Письмо *й* перевели на русский, хотя опубликовать в журнале «Вильнюс». Он просит меня посмотреть перевод. И вот я читаю сейчас этот текст с карандашом в руках и... не нахожу для себя ничего нового — того, о чем бы он не говорил мне раньше.

Тогда почему *й* бьет себя в грудь? «Сам заварил эту горькую кашу... не разобрался».

«Во всем виновата интонация» — слова из еврейского анекдота.

* * *

Не сомневаюсь: когда-нибудь эти заметки *й* помогут тем исследователям, которые возьмут на себя труд написать о психологии еврейско-литовских отношений... В этом-то все и дело! *й* выступил по телевидению как писатель-психолог. А его слова восприняли сквозь призму политической конъюнктуры.

* * *

Психология исторического процесса для *й* очевидна: жили рядом два народа; жили, в сущности, мирно; друг друга при этом почти не знали; неужели трагически разошлись?

* * *

Он любит вспоминать Каунас своей юности. Литовские и еврейские поэты тогда нередко выступали на одних и тех же литературных вечерах, аплодировали, улыбались, симпатизировали друг другу. Почему-то ни у тех, ни у других никогда не возникало желаний поговорить, просто посидеть вместе за столиком кафе...

* * *

й, конечно, не первый задумался о странной «стене между литовцами и евреями. Невидимой. Но и своеобразной»... Они были соседями — «на одной улице, часто — в одном доме, — все это должно было их сблизить, но не сблизало: разными были языки, культуры, религии, привычки, а главное — совершенно разной была психология...»

* * *

Тут я останавливаюсь. Вот он, главный предмет размышлений *й*. Старый еврей пытается понять: о чем думал, что переживал его сосед-литовец в сложные предвоенные десятилетия.

«Ах, как я гордился, мальчишка, когда мама привезла меня впервые в Каунас! Почему я гордился? Видел всюду на улицах столицы вывески с еврейскими фамилиями! Нет, мне и в голову не приходило спросить, что думают по этому поводу литовцы. Может быть, то, что вызывало у меня гордость, казалось им унижительным?»

й во второй раз повторяет мне тезисы своего выступления по телевидению. Но потом я перечитываю его письмо к дочери — аргументы *й* сформулированы здесь четче:

«...Поверь, что я только стараюсь тебе объяснить, каково было тогда национальное самосознание рядового литовца, и измерить его теми же психологическими мерками, которыми ты меряешь свое. Не удивляйся, что я так говорю. Представь хоть на минуточку, какие чувства охватили бы тебя, израильтянку, если бы ты увидела, что в центре Тель-Авива, на шикарной улице Дизенгофа большинство магазинов принадлежит не евреям, а арабам, торговые компании — арабам, кинотеатры и кафе — тоже арабам. Не сомневаюсь, что это вызвало бы у тебя неприятные ощущения, задело бы национальное и, чего доброго, человеческое достоинство. Если скажешь нет, прости, не поверю. Я прекрасно знаю, в какое время мы живем, что люди — толпа, масса — заражены ужасной национальной лихорадкой, которая распространилась как эпидемия и «завоевала» не только отдельные государства, но и целые континенты, и все — и я, и ты — признаемся же! — ею заражены...

К сожалению, в этом плане наша с тобою историческая родина — Израиль — не исключение. Жилищное строительство на оккупированных территориях, скупка у арабов земель продиктованы не только экономическими — не будем лгать себе и другим, — а в большей степени национальными интересами. Ты, конечно, скажешь: евреи правы, потому что все это — их. А литовцы, создавая и укрепляя свое государство, ведь тоже были правы, говоря: «Все это наше!»

...На одно и то же событие *й* пробует взглянуть дважды — своими глазами, а потом глазами соседа. А ведь это и есть главное в том диалоге между евреями и литовцами, который давным-давно пора начать.

* * *

В наших разговорах *й* возвращается (десятки раз?) к трагическому тупику, в который загнала литовских евреев история.

«...Мы уже знали о том, что делают с евреями в Германии и что делают с ними в оккупированной немцами Польше... Нет, выбора у

евреев не было. Вели битву два гиганта — Германия и СССР. Если победит Гитлер, евреям — смерть. Если победит Сталин, остается хотя бы надежда... Так только и можно объяснить цветы, с которыми литовские евреи встречали советские войска в сороковом году».

Трагический тупик? Но *й* думает сейчас не только о евреях — о чувствах литовцев, которые смотрели на те цветы — символ крушения их национального государства.

* * *

Переносясь через десятилетия, он пытается понять и самого себя — человека с «двойным зрением». Говорит мне:

—...Так вот, я живу в своей квартире сорок шесть лет. Вы помните мой адрес? Улица Витауто, дом 3, квартира 2. А всю свою молодость, в маленьком городке Калвария, я провел тоже на улице Витауто — в доме 32. Заметили? Те же цифры. Только число 32 как будто раскололось: 3 и 2.

Раскол. Он мало кому заметен. А я часто думаю об этом. Тогда, в Калварии, я был только еврей, еврейский мальчик. А теперь я и еврейский, и литовский писатель. И еврей, и литовец. Одновременно.

В самом деле, соединимо ли это? Возможно ли? (28 октября 90 г.)

* * *

Он повторяет мне в эти месяцы (в ноябре и декабре 91 г.):

— Я — как человек, который отплыл от одного берега, а к другому берегу не пристал. Теперь я всем чужой! Не могу понять: почему я «предал евреев» и чем так уж угодил литовцам? Я не хотел ни того, ни другого. Я в отчаянии.

О том же в письме дочери: «Сознание покрывается тьмой».

Он снова в лабиринте. А кто-то решил: *й* раздаст индульгенции преступникам. И уже звучат приговоры — ему самому.

Й пересказывает мне почти ежедневно отзывы на телепередачу. Целая коллекция. Хвалебные характеристики его не интересуют. А ругательства — они по-своему говорят о психологии литовских евреев.

Итак, й — «законченный антисемит», «коллаборант», «прислужник литовцев». Вопрос по телефону: «За сколько продал память своих убитых родных?»

Й ничуть не утрирует, не преувеличивает отношение к себе своих соплеменников здесь, в Литве. Чуть позже я записал слова журналиста Михаила Мирского:

— Мне кажется, Йосаде отлучили от еврейства, как Толстого отлучили от церкви...

* * *

Штампы всегда наивны. Конечно, й не «коллаборант». Конечно, он «все помнит». Может быть, самому себе й повторяет устами героини в одной из пьес: «Не защищай их. Ты живешь в стране, где каждая пядь земли полита кровью евреев. Воздух пропитан откровенной или скрытой ненавистью к нашему древнему народу. Так и не могу понять, как ты там дышишь и не задыхаешься?»

...Совпадение? Однажды я говорю ему о том же, хотя в другой тональности:

— Не знаю, смог ли бы я жить там, где убили моих родных. Смог бы дышать тем же воздухом?

— Вы правы, — отвечает й. Но как-то уж очень спокойно.

Думая потом об этом, понимаю: наверное, по той же самой причине й необходимо жить именно здесь.

* * *

Несколько раз й предлагает мне представить: а что было бы, если бы евреи и литовцы поменялись местами? Сколько гонимых и преследуемых было бы спасено? Сколько бы совершилось предательств?

Какие формы приобрели бы человеческая жестокость и корысть? А как выявили бы себя великодушие, доброта?

Кто-то скажет: эти фантазии неуместны. Зачем гадать? Пока что история зафиксировала иное. Тот же каунасский гараж «Летукис», где на евреев пожалели пуль — их умерщвляли, вставляя в рот шланг и накачивая потом воду...

Все так. Однако если история не знает сослагательного наклонения, то ведь и людская природа не знает национальных рамок. Темные, звериные инстинкты, которые бушуют внутри человека, не зависят ни от цвета кожи, ни от разреза глаз, ни даже от вероисповедания. Религия и мораль только помогают индивидууму обуздывать инстинкты, бороться с дьяволом... Но прежде всего это делает сам человек. Не оттого ли международное право не признает «коллективной ответственности» за преступления?

* * *

Люди с «двойным зрением», конечно, не так уж редки. Если говорить только о литературном цехе Литвы: Юстинас Марцинкявичюс... Томас Венцлова... Казис Сая... Сигитас Геда... Витаутас Бложе... Пранас Моркус... Наверное, можно вспомнить еще немало имен. Увы, Литовское телевидение не вспомнило их! Я имею в виду обиду *й*. У него была договоренность: после его выступления будет другая передача, где выступит писатель-литовец. Выступит тоже очень откровенно, «соседски». Скажет о геноциде евреев в Литве.

Передачи этой *й* не дождался.

* * *

В эти два месяца настроение его колеблется.

То винит себя: «Растревожил улей! Если говорить объективно, я действительно принес вред. Да, вред — раз меня не поняли ни евреи, ни литовцы».

Нередко, однако, видит *й* причину в другом: «Наверное, еще не пришло время для такого разговора...»

* * *

10 января 92 г. *й*, кажется, уже перестал тревожить осенний «конфликт». Сегодня он заметил:

— Каким плоским выглядит человек, если определять его только одним понятием: еврей, литовец, русский... Нет, тогда уж я побуду космополитом.

| Не забудь о Сальери

Август 92 г. В отличие от многих авторов, у него отсутствует «комплекс Сальери». Еще бы! Зависть унижит *й*!

Не раз замечаю: он предельно объективен, когда говорит о коллегах. Легко прощает слабости. Входит в трудности осуществления замысла. Всегда простодушно, не жалея эпитетов, восхищается чужим произведением — «на бумаге воплощена гармония...».

Говоря о литературе, видит писательскую судьбу: становление, развитие таланта — «путь над пропастью быта». Судьбу своего старого друга, теперь всемирно известного еврейского поэта Гирша Ошеровича:

— Он отказывал себе во всем. Ни шагу в сторону от главного! Подчинил и свою жизнь, и жизнь жены, которая так предана ему, творению стихов, разговору с Богом. И победил!

...Видит судьбу Григория Кановича. Вроде бы тут могла возникнуть ревность. Их ведь сегодня всего двое. Два еврейских писателя в Литве (трагическая ирония: один — Йосаде — пишет по-литовски, другой — Канович — по-русски). *й* гораздо старше, в какой-то степени — учитель Кановича (тот и сам это всегда подчеркивает). Однако ученик давно

уже несравненно известней учителя. *й* говорит о Кановиче, ничуть не переживая об этом:

— Редкий мастер! Вы, конечно, заметили, как гибко, как многоцветно его слово! Умный мастер... умеет точно сказать о самом больном в истории литовского еврейства. Он пришел к своей главной теме, когда это было опасно. Опасно в прямом смысле слова: автор романов, где речь шла о еврейской национальной идее, мог в любой момент быть назван врагом. Канович рисковал. И победил.

...Первые рассказы, эссе на еврейскую тему поэта Марка Зингериса:

— Ах, как интересно: он начал поиск. Куда же, куда в конце концов придет?

й говорит о чужих поисках и победах в литературе, кажется, не заботясь о победе и поисках собственных.

Нисколько не удивился, когда на днях услышал от него:

— Каждый литератор должен время от времени задавать себе вопрос: «Не становлюсь ли я похожим на Сальери?»

| Энергия заблуждени^я

Я снова думаю о том же. Как пришла к *й* мысль, что нужно переделать не только себя, но и своих родных? Никогда он не был в компартии; нет нужды доказывать ему: вся его жизнь изломана тоталитарным обществом, задуманным и созданным коммунистами. Однако в течение десятилетий близка *й* любимая идея большевиков: в чужую судьбу можно вмешаться, человека можно и нужно «перековать»...

* * *

Тут я подхожу к еще одному лабиринту *й*. Вот он: семья.

* * *

12 сентября 94 г. С домашними *й* диктатор, хотя, понятно, сам так не считает. Конечно, он слышал подобное определение своей роли в семье. Но определение «настолько несправедливо, так абсурдно», что сознание *й* отбрасывает его. Это дети когда-то написали в их домашней стенгазете: «Наш папа — узурпатор». Однако «дети попугайничали, повторяли слова моей жены».

* * *

Дети давно выросли. Дочь — в Израиле, а сыну *й* по-прежнему диктует, как жить. Возмущается: в диктанте — сплошные ошибки!

* * *

10 апреля 92 г. *й* хотел, чтобы Иосиф стал физиком: «Это профессия будущего!» Иосиф — прирожденный гуманитарий, однако — ломая себя — пытался следовать совету отца. Несколько лет учился на физическом факультете, перешел затем на математический. Закономерно, что все-таки (лет через десять после поступления в вуз) окончил исторический факультет.

Потом сын потянулся к скульптуре, живописи. Выставки. Споры. Кто-то пожимает плечами. Однако кто-то (в том числе — искусствоведы) о работах Иосифа Йосаде отзываются восторженно. Конечно, это лестно слышать Йосаде-старшему. Но... все равно у него есть свое, совершенно точное, мнение о том, что должно быть и чего не может быть в произведениях сына.

* * *

11 марта 95 г. Я часто смотрю на скульптурный портрет *й*, давным-давно сделанный Иосифом. Замечаю: с годами сходство портрета и натуры усиливается. Говорю *й*, что, по-моему, работа прекрасно передает суть.

— Нет, суть абсолютно не передана! — отвечает раздраженно.
Видимо, *й* думает о сути их отношений. О том, что сын якобы не понимает отца.

* * *

«Что ему, в сущности, не нравится в Иосифе?» — спрашиваю себя. И прихожу к неожиданному выводу: не нравятся поиски, метания. Все это *й* разрешает только себе. От близких же требует определенности, четкости; если так можно выразиться — завершенности холста.

* * *

Конфликт между отцом и сыном резко обнажает важную грань личности *й*.

Он — человек идеи, ради которой может пожертвовать собой, женой, детьми.

Он строит свой мир. В проекте этого мира ясно обозначено место всему и всем: место семьи, конечно, более важно, чем место той или иной вещи в его кабинете. И все же это — единая система, где нельзя ничего изменить без «проектировщика».

* * *

10 декабря 95 г. ...Выходим с Иосифом на заснеженную — нынче — улицу. Он продолжает рассказывать:

— ...Отец на каждого из нас как бы наклеил ярлычок. Решил, какими мы должны быть. А потом стал переделывать. Он вообще верил: жизнь можно перекроить. А я... я еще в тринадцать-четырнадцать лет понял: человека не переделаешь. Сначала мы с отцом спорили. Потом я стал уклоняться от споров. Жалел его. Но отец был очень твердым человеком. Я по сравнению с ним — глина. Едва встретались, как он — даже тяжелобольной — твердил и твердил свое...

* * *

9 июня 94 г. «Когда мы поженились в январе сорок шестого, я не просто очень ее любил — я радовался, ликовал! Моя Шейнеле не только красива, она на десять лет моложе меня, простодушна, наивна... Значит, передо мной глина, из которой я вылеплю все, что захочу».

Неужели прошло полвека? По крайней мере, сейчас я все еще слышу, как *й* по-прежнему что-то объясняет жене. Как бы задает за нее вопросы и сам отвечает на них: что, как, где, почему она должна делать...

А ей, доктору Сидерайте, — семьдесят три. Больные со всей Литвы, научная работа (она — первая после войны — занялась в Литве эндокринологией, проблемами лечения диабета таблетками), на ней — квартира, сад, диетическое питание для мужа. И постоянная забота: как продлить его жизнь?

* * *

В мелочах семья подчинилась *й*. Но именно — в мелочах. Как и он, все они не отмечают дни рождения, не признают праздников... («В Новый год мы ложимся спать как обычно, не позже и не раньше, — говорит мне доктор Сидерайте. — Елка? Это бы всех нас удивило».)

Может быть, я забыл еще что-то? Во всем остальном его жена, дочь и сын остались такими, какими вылепил их Господь Бог.

* * *

6 января 94 г. Я невольно восхищаюсь доктором Сидерайте. *й* чувствует это и... ревнует. Улыбаюсь, так как понимаю причину его ревности. Он хочет поглотить мое внимание полностью, целиком. Впрочем, еще больше он ревнует доктора Сидерайте к ее работе.

В пятидесятые годы, вскоре после того как жена окончила медицинский факультет, *й* требует:

— Брось свою поликлинику! Ты будешь служить в «Пяргале». Будешь в курсе всех моих проблем. И — целый день у меня перед глазами.

Она отказывается. В душе *й* долго живет обида: неужели не понимает, что так было бы лучше для всех?

Годы идут, обиды накапливаются.

По-прежнему *й* раздражает то, что после свадьбы она не стала менять свою фамилию. («Сказала, что будто бы много хлопот с документами, но ведь это ерунда».)

Однако больше всего беспокоит другое — в течение десятилетий о нем говорят: «Муж того самого врача...»

* * *

Со временем кое-что меняется. Иногда, принимая за жену важное решение, *й* словно не замечает (а может быть, все же догадывается?): решение уже принято. Ею самой.

Своеобразную новеллу на эту тему рассказывает доктор Сидерайте.

Однажды, в шестидесятые годы, *й* пригласил жену и ее брата, приехавшего из Каунаса, в ресторан «Неринга». Ужин. Шампанское. *й* торжественно объявляет: «Я решил, что ты, Шейнеле, с завтрашнего дня будешь делать кандидатскую диссертацию». А она уже давно вела научную работу. И успешно выступала на конференциях. И даже публиковала результаты своих исследований.

* * *

3 декабря 94 г. Характер его труден? Неудобен? Колюч? Нет, все эти определения неточны — они не учитывают «сверхзадачу» конкретной человеческой жизни (воспользуюсь уместным здесь термином Станиславского). *й* повторяет:

— В семье должна быть только одна цель. И все должны следовать только этой цели...

Сам он, конечно, следует.

* * *

6 апреля 95 г. Название книги Виктора Шкловского «Энергия заблуждения» звучит как формула бытия. *И* живет этой энергией. Здесь тоже — тайна его молодости. Он всегда находится в процессе становления, развития — даже «переделывая» близких, ошибаясь, он все еще торопится к самому себе.

| Герой и автор

Мы по-прежнему говорим о его смерти. Конечно, говорит в основном *И*.

— Что ж, событие это само собой разумеющееся и — приближающееся.

Я не соглашаюсь, но и не опровергаю его, как предписывают «правила хорошего тона». Это сразу разрушит характер наших бесед, их особый строй — без фальши.

Часто *И* говорит о смерти в связи с моей работой:

— Когда умру, вы легко напишете свою книгу. Мой портрет приобретет четкость, определенность. Все сразу встанет на свои места...

* * *

К истории наших отношений с *И*. Может быть, самое главное: я давно полюбил то, что он не сумел в себе осуществить.

* * *

10 декабря 91 г. Несмотря на его приверженность христианству, *И* скучно размышлять о морали. *И*, наверное, это единственное, что разделяет нас. Очень четко *И* выразил свою мысль сегодня:

— Мне кажется, художник не думает о нравственном начале... его интересует только психология.

Я уточняю: если мы говорим о «пространстве» литературного произведения, это так. Но если речь о пространстве «живой жизни» — как обойтись без морали? Как не заблудиться без нее в сумерках одинокой дороги?

И молчит. Не сомневаюсь: он не согласен со мной.

* * *

И не может отказаться от своей привычки изучать всех вокруг себя. Я, конечно, не исключение из правила.

Уклоняюсь, сопротивляюсь. Не хочу, чтобы мы отвлекались от нашей задачи. Она вовсе не одномоментна — не может ограничиться даже серией интервью.

Я не исключение из правила и в другом. И пытается — с самыми добрыми намерениями — «переделать» меня. Ему почему-то кажется, что я ломаю свою жизнь. Причем ломаю резко, решительно. Он пробует понять: зачем? Хочет, наверное, чтобы я не повторил его ошибок. А главное — он не видит логики в моих решениях и поступках.

— Вы в Литве пять лет? — спрашивает И. — Уже пять лет...

Он что-то мысленно взвешивает, сопоставляет:

— Сколько у вас вышло книг до переезда сюда? Четырнадцать? Для эссеиста и литературоведа — немало.

И продолжает свои расчеты. Видимо, ему легче размышлять обо мне, соизмеряя мой путь со своим. Между нами разница в возрасте — тридцать семь лет, я гожусь ему в сыновья, но И думает как раз не об этом... О чем же? О линии творческой судьбы — главной линии в жизни любого литератора. Куда выведет она меня? И умеет взглянуть на ситуацию с безжалостной ясностью:

— Вы были благополучным преподавателем вуза, много публиковались. И вдруг — бросили все. Россию! А ведь вы связаны с ней рождением, культурой, языком... Переезд в независимую Литву?.. Что ж,

последнее вроде бы логично... Вы ведь написали повесть о Кристионасе Донелайтисе. Я читал ее, понял ваш замысел: не просто рассказать о жизни и трагедии гения — увидеть жизнь национального духа в течение столетий. Донелайтис привел вас в Литву. Но — дальше... Что дальше?

И недоумевают. Литератор не общается почти ни с кем из коллег. Перестает даже ходить в Союз писателей. Ради чего? Ради нескольких десятков еврейских судеб, записанных в эти годы на магнитную пленку? Соизмеримы ли жертвы? Впрочем, и тут, внутри новой моей жизни, И не видит логики. За пять лет — ни одной крупной публикации, хотя он знает: некоторые из взятых интервью сенсационны. Молчание... Что из него вырастет? «Конечно, я давно понял: вас интересуют не события, сколь бы сенсационны они ни были, — их психологическая подоплека. Прекрасно! Тем не менее жизнь проходит. Я на себе ощутил, как это бывает: в тех самых изданиях, где ты вчера печатался, уже мелькают новые имена, а тебя давно забыли, ты уже отстал от поезда...»

И чувствует загадку чужой жизни, видит ее излом, который может оказаться трагическим. «Любой неточный шаг и... Нужна воля! Нужно постоянно прислушиваться к пульсу судьбы».

* * *

Не раз слышу по телефону и такой его монолог:

— Что у вас нового?.. Ничего особенного? Вы не откровенны со мной! Впрочем, если вы даже скажете мне нечто, вы все равно будете не откровенны. Вы ответите формально. Нет, наверное, все правильно. Ведь вы живете еще во внешнем мире, а я уже в другом... (6 декабря 93 г.)

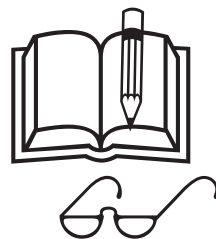
* * *

Говорю ему почти все. Хотя, действительно, не сказал важное: пять лет назад я резко переменял свою жизнь не только потому, что эмигрировал в Литву, — я вернулся в иудаизм. Это не оговорка: вернулся. Считается, что каждый еврей с детства приобщен к иудаизму. Правда, иногда он сам не знает об этом.

Почему я промолчал? Отношение *й* к иудаизму мне хорошо известно, а неизбежные — постоянные — расспросы его увели бы нас слишком далеко. Конечно, я помню: мы с *й* уже давно не просто «герой» и «автор» — друзья. Тем не менее я хочу прежде всего оставаться его зеркалом.

ЧЕЛОВЕК НА ПОРОГЕ

Тетрадь третья



| Знаки

2 апреля 95 г. Прошло уже два года с тех пор, как *й* сказал:

— Вы безошибочно почувствуете приближение моей смерти. Я, подобно многим умирающим, буду обманываться надеждой, но вы-то не ошибетесь!

й прав. Знаки смерти хорошо различимы в его глазах, голосе, движениях. Существует много литературы о том, как читать подобные знаки — например, книги тибетских целителей. Но сейчас эти указания ни к чему. Путь *й* к смерти — точно или менее точно — отражен в моем дневнике.

* * *

8 августа 95 г.

Прощаясь, каждый раз пытаюсь как бы вобрать, удержать в памяти его маленькую фигурку, острый взгляд из-под густых бровей... Да, я помню: это лицо старого актера, который так хорошо умеет менять выражение в зависимости от новой роли. И все же...

— Следующего раза может не быть, дорогой мой, — говорит *й*. Я различаю улыбку в его голосе. Но при этом вижу тоску в глазах.

Да, следующего раза может не быть! Придя через две-три недели, легко замечаю перемену в нем: похудел, как бы подсох весь, еще резче

морщины. Меня переполняют жалость и нежность, которые стараюсь никак не выказать.

* * *

Человек на пороге смерти. Это — прежде всего — особое состояние психики. Что-то заставляет *й* вновь и вновь напоминать себе сейчас старую истину, которая предельно точно выражена в еврейской книге «Поучения отцов» («Пиркей авот»):

«Рожденным предстоит умереть, умершим — воскреснуть, а живым — предстать перед судом».

| Свет на морских волнах

21 сентября 94 г. Из разговора по телефону.

«Что я делаю? Сажу в кухне и решаю: взять с полки книгу Моше Лейба Гальперна или нет? Я взвешиваю свои силы и — думаю о Гальперне. Он родился недалеко от Львова, учился живописи в Вене, жил в США. Часто зарабатывал свой кусок хлеба тяжким трудом. Скитался. Много пил. Довольно рано умер. Чем-то его стихи и судьба напоминают мне Сергея Есенина. Был он едва ли не гениален. И, мне кажется, теперь почти забыт.

Я вспоминаю такие строки Гальперна: “Если вам поэт Моше Лейб скажет, что утром, около десяти, он увидел свет на морских волнах, вы поверите Моше Лейбу? Конечно же, нет...”

А дальше... Дальше поэт говорит о том, что смерть тянет его в море. Кругом толпа, но никто ничего не замечает. Чем заканчивается стихотворение? Уже не помню. Но... не могу решиться взять книгу с полки».

* * *

Конечно, *й* волнует образ смерти. Как придет она? Будет тяжелой или легкой?

— Знаете, так уж полчаса: закрою глаза и — сам вижу этот колеблющийся, едва заметный, притягивающий меня свет на морских волнах.

| Одиночество как форма «ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА»

4 января 95 г.

— Я одинок. Я очень одинок.

Сегодня *й* снова несколько раз повторил это. Как и в других наших разговорах. Как и в фильме «Иллюзии». Как в своих письмах.

Восхищаюсь решимостью его исповеди (сам не смог бы признаться в подобном никому). И, конечно, думаю: как воспринимают такие высказывания его жена, дети?

Доктор Сидерайте слушает мужа спокойно. Будто не к ней, не к их долгой совместной жизни это так или иначе относится. Привыкла.

* * *

5 сентября 95 г. Лист бумаги с вопросами, которые я хотел задать *й* (не задал, потому что он тяжело болел).

1. ПОНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СОБСТВЕННОГО ОДИНОЧЕСТВА?

(Пометка для себя:

й был естественно — как почти все люди — одинок в отрочестве, в юношеских поисках призвания.

Разумеется, одинок среди развалин Литовского Иерусалима.

Он — один на один со своим прошлым, в лабиринтах сомнений, страхов, противоречий.

Ему бы смириться, осознать: это одиночество отчасти и создано им самим. Именно так в семье, где *й* буквально «выстроил» собственное одиночество, начав перестраивать жизнь и характеры близких. Так и в литературе: *й* сам ушел из еврейской культуры, а с культурой литовской по-настоящему не сроднился.

Ему бы оглянуться, тогда увидел бы: сейчас идет жесткая переоценка едва ли не всех привычных ценностей; по-своему одиноки, растеряны среди этой сумятицы большинство коллег *й* из бывшего СССР.

Ему бы махнуть рукой! Принять извечное, мудрое одиночество старости.)

2. НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО, ТЯГОТЯСЬ ОДИНОЧЕСТВОМ, ВЫ ОДНОВРЕМЕННО ИЩЕТЕ ЕГО?

(Пометка для себя:

Потребность одиночества связана для *й* с творчеством, с необходимостью особого сосредоточения, медитации, одинокого разговора с Богом.

й признается:

— Иногда по несколько дней молчу.

А доктор Сидерайте, услышав наш разговор, подмечает:

— Часто во время работы он — сознательно или бессознательно — создает в семье конфликт. Потом, довольный, погружается в себя.

Почему *й* доволен? После ссоры на определенный срок рвутся контакты с родными. Есть своего рода «гарантия» одиночества.)

3. ПРЕДЕЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА — СМЕРТЬ. НО ВЕДЬ ВЫ ПРИМИРИЛИСЬ С НЕЙ... ТОГДА ПОЧЕМУ ЖЕ БУНТУЕТЕ?

(Пометка для себя:

«Бунт» *й* объясняется просто. Он — старый ребенок: дети никогда не могут принять одиночества!)

| Варианты судьбы

6 ноября 91 г.

— Очень рано определилась цель моей жизни. Я решил стать писателем. Сделал ли я правильный выбор? Этот вопрос все еще важен для меня!

Да, перед *й* открывался в юности и другой путь. В школе его однажды пригласил побеседовать учитель математики:

— Йосаде, я вижу: вы связываете свое будущее с литературой. Подумайте хорошенько. По-моему, вы многого добьетесь в точных науках.

й размышляет об этих словах до сих пор.

* * *

А позже показалось: из него выйдет прекрасный коммерсант.

«Когда в тридцать первом разорился отец, семья наша осталась без средств к существованию. Фабрика опечатана. Кредиторы требуют немедленно отдать долги. Отец же никак не может прийти в себя.

Я учился тогда в Каунасе, в университете Витаутаса Великого. С родными виделся редко. Я удивился, когда однажды увидел на пороге своей комнатки маму — самого близкого мне человека в нашей семье. Она требовала и умоляла — одновременно:

— Яша, ты должен сам взяться за расчеты. Иначе полный крах. Навсегда.

Я бросил учебу. Приехал домой. Подключил к работе нескольких опытных адвокатов — из Мариямполе, Каунаса. Представьте себе, за три месяца удалось решить все проблемы с кредиторами.

А потом в Литве кончился промышленный и банковский кризис и наступил подъем. Мы снова открыли фабрику. Заставили отца взять

хорошего бухгалтера. Да и сам он уже многому научился на горьком опыте. Когда в сороковом году советская власть национализировала фабрику, она приносила прибыль — предприятие оценили в сто двадцать тысяч литов. Немалое по тем временам состояние!»

* * *

Нет, *й* не сомневается в правильности своего выбора. Он просто перебирает сейчас, перед смертью, возможные варианты судьбы.

| Хроника ухода

Записи мои трех-четырёх последних лет — часто об одном. Вот *й* прислушивается к самому себе, вот ум художника бесстрастно регистрирует, отбирает, классифицирует те или иные процессы старения организма. Необратимые уже перемены.

Постепенный у х о д.

й понимает ценность подобных самонаблюдений. Дрожащей рукой выводит в тетради: «Дневник старости».

Однако он замечает и противоречие. Эти наблюдения важны прежде всего потому, что тут — хроника распада, угасания. Как же воспользоваться тогда этим богатством ему самому? Каким образом придать материалу форму?

Противоречие, которое он разрешить не может. К тому же «Дневник старости» тоже требует сил, времени. Ни того, ни другого нет.

й предлагает (иногда молчаливо, иногда — деликатно, двумя-тремя словами) разрешить это противоречие мне. И вот человек, который никогда не любил говорить о собственном здоровье, сообщает другому подробные «отчеты» своего физического состояния.

* * *

30 марта 95 г. Вздрагиваю, когда слышу:

— Привык, что внутри меня всегда звучит музыка. А ТЕПЕРЬ ОРКЕСТР ИСЧЕЗ.

Почему вздрагиваю? Дело в том, что когда-то, занимаясь психологией творчества, я много думал о причине смерти Александра Блока. Странной смерти — в сущности, без болезни. Просто однажды Блок перестал слышать музыку. И перестал после этого писать стихи.

И не поэт — драматург. Но после «исчезновения» музыки он уже не разговаривает со своими героями.

* * *

«Что я делаю целыми днями? Пересматриваю библиотеку. Вынимаю ту или иную книгу. Какая окажется под рукой. Читаю одну страничку, вторую. Ничего нового, все давно знаю...»

* * *

Вот и еще один наш ужин. Втроем. На их кухне. Доктор Сидерайте, недавно вернувшаяся из больницы, накрывает на стол. Печет блинчики, достает свой фирменный пирог с ревенем. И ест мало. Один сырок. Какой-нибудь бутерброд. Стакан чая. «Мне уже хватит и этого». Кутается в халат. А я помню, как за этим столом он произносил огромные монологи... Но даже и сейчас — оживляется во время ужина, подтягивается, голос становится тверже.

* * *

3 января 95 г. Интонации его голоса унылы. Раньше и сам творил радость, веселил себя и других, теперь — не хочет: пусть все идет, как идет.

То, о чем я подумал, банально: надо найти, организовать событие, которое «расшевелит» и.

Мысль эта, как ни странно, конкретизируется легко. Вот его пьеса «Прыжок в неизвестность»... На нее не обращают внимания театры; но ведь ее можно издать?

Звоню в издательство «Прада»; книжка — пятьсот экземпляров — будет стоить около двух тысяч литов; смету представят на днях; тираж можно получить через недели две-три.

Доктор Сидерайте понимает все сразу. Как врач она, наверное, может выразить в терминах оздоровительный эффект этого события для *й*. Как жена... Говорит, не задумываясь:

— Отдам на это последние деньги.

Разумеется, отдает. И организует издание. И возится с корректурой. И...

* * *

КОНЕЦ ЛЕТА 95-го. *й* в больнице. Во время нашего разговора вдруг закашлялся. Сильная, долгая рвота. Я иду за санитаркой. Думаю о том, как приободрить его, сгладить чувство неловкости, которое наверняка испытывает *й*. Но, возвратившись, вижу: *й* спокоен; может быть, он даже хочет, чтобы я видел и это?..

Он прав.

* * *

12 сентября 95 г. Теперь, когда звоню ему, утром или днем, в трубке — молодой голос: «Подождите минутку». Когда-то пани Тереза была медсестрой, потом окончила университет, стала юристом. Как многие, потеряла сейчас работу. С удовольствием помогает доктору Сидерайте, но больше — *й*. Помогает ему преодолеть страх (уже несколько месяцев он боится оставаться в доме один — «вдруг случится сердечный приступ?»).

* * *

МОГ ЛИ УГАДАТЬ ОН КОГДА-НИБУДЬ ПРИЧИНУ БУДУЩИХ СВОИХ ВОЛНЕНИЙ?

Холод мучает *й* все последние годы. Особенно в ту пору, когда самоуправление экономит на топливе. «Я замерзаю!» — кричит он мне в трубку.

Чувство холода болезненно для него. Нынче ждал холодов с нарастающей день ото дня тревогой. Летом еще стал продумывать «систему утепления».

И вот в его комнату поставлены два обогревателя, окна тщательно заклеены. И комнату эту он покидает совсем редко. Как крепость. Помнит: в коридоре — враг...

Радостей по-прежнему мало. Среди немногих — книги. Несколько дней доктор Сидерайте ищет для *й* в разных магазинах Вильнюса следующие издания: Артур Шопенгауэр, «Мир как воля и представление» (это его любимый автор с юности); Людвиг Витгенштейн, «Избранное»; Мартин Хайдеггер, «Избранное»; монография «Литовская мифология» (она необходима для новой пьесы *й*); Юозапас Альбинас Гербачяускас, «Терновый венок» (лекции этого литовского критика и эссеиста *й* слушал еще до войны). (11 октября 95 г.)

* * *

КУПАНИЕ. Долго подготавливаемый и нелегко проходящий процесс.

Осенью, когда еще не включили отопление, это выглядит так. Сначала доктор Сидерайте согревает в ванной комнате воздух — там должно быть очень жарко (тепло не должно исчезнуть в течение полутора часов). Потом набирает в ванну горячую воду. Затем приводит *й*, раздевает его, медленно сажает в воду (причем последовательность погружения указывает сам *й*)...

Только этот — самый первый — этап занимает не менее получаса.

* * *

«НЕНАВИЖУ СВОЕ ТЕЛО. Кожа моя в последние две недели стала очень чувствительной. С трудом бреюсь, преодолев лень и отвращение. С трудом подставляю пальцы под струю воды».

...«Иногда кажется: я такой же старик, как другие. Как те, от которых я всегда отходил в сторону. От них пахнет старостью».

...«Все время боли. Стараюсь понять их природу. Иду мысленно в глубь боли. И тогда оказывается: с болями можно жить...» (13 октября 95 г.)

| Фундамент

Он все еще рассказывает мне свою жизнь. Но это уже рассказы «вдогонку» — то, о чем раньше не вспомнил. Или не хотел говорить.

* * *

«...Меня долго занимала загадка моей родословной.

Как появились в Калварии мои предки? Откуда они?

Я знал только: фамилия наша — Йосаде — не характерна для литовских евреев. Корень этого слова древнееврейский: «йесод» — значит фундамент, основание.

Наконец, после войны, услышал: в Москве живет еврейский ученый, критик, эссеист Приблуда. Он изучает происхождение еврейских фамилий! Представьте себе, я волновался, отправив ему письмо. Не менее волновался, когда читал ответ: фамилия Йосаде существует только у испанских евреев; скорее всего, один из моих дальних предков действительно что-то создал, изобрел! А может, он в самом деле выкладывал фундаменты зданий.

Как известно, евреи из Испании были изгнаны. Некоторые из них отправились в страны Центральной Европы, другие — через Крым —

на Украину. «Скорее всего, вы именно с Украины», — писал мой московский корреспондент. Он попал в самую точку!

Знаете, какое предание существовало в нашей семье? Мой прадедушка был кантонистом. Вы помните? Кантонистами называли евреев, служивших в царской армии. Большинство из них были крещеными. Служили они долго — по двадцать пять лет. Так вот, моему прадеду надрело, и он сбежал.

Его поймали. Судили. Все это было именно на Украине. Потом его отправили в знаменитую тюрьму, которая находилась в Калварии.

Что делают евреи маленького городка, узнав, что в местной тюрьме появился их соплеменник? Они решают: его надо выкупить, еврей не должен сидеть в тюрьме! Собрали деньги, пошли к начальнику тюрьмы и — выкупили. Бывший заключенный остался жить в Калварии. Женился.

Увы, я мало что могу рассказать об этом смелом человеке. Знаю только его имя — Авром.

Все мужчины в нашей семье носят библейские имена. После Аврома — Шмуэл, потом мой отец — Мойше, потом — Яков, то есть я. Моего сына зовут Иосиф».

* * *

Есть, однако, еще одно объяснение того, откуда произошла его редкая фамилия. *Й* этого так и не узнал.

Каббала, открывающая первопричину вещей, тайный смысл мироздания, утверждает: все происходит и существует во Вселенной благодаря Свету, излучаемому Творцом. С помощью особых «сосудов» — сфирот — Свет достигает людей. Одна из главных сфирот называется *йесод* — Основание...

Каббала говорит о мистических измерениях времени: они были «потеряны» человечеством, однако их энергия — вокруг нас. Путь к этой

энергии тоже связан со сферой «йесод». Вселенная и человек устроены схоже. В человеческом организме «йесод» — это половые органы.

Что ж, *й* мог бы о многом задуматься: его фамилия действительно связана с фундаментом, основанием мира.

| Фрагменты жизни

Разгадка его характера? Слова: «ЧЕЛОВЕК, НЕ ПОХОЖИЙ НА САМОГО СЕБЯ».

Что это? Название книги З. Паперного о Михаиле Светлове. Почему-то — интуитивно — повторяю эти слова *й*. Он приходит в восторг: — Как раз про меня!

* * *

«Расскажу сейчас историю, ПОЧТИ АНЕКДОТ. Но сначала о том, что сам я писал в своей изданной автобиографии».

й берет с полки книгу, читает:

«Моя жизнь уже катится вниз, я не нахожу смысла в том, как соединяются отдельные ее события... Не нахожу логики и последовательности. Трагический наш век бросал меня то в одну, то в другую сторону, и чаще всего не туда, куда я хотел».

После этого, именно после этого один критик написал: нет, логика в движении *Йосаде* есть. Это — движение к коммунизму.

Я встретил того критика на улице. Пожал руку:

— Прекрасная статья!

* * *

ЕГО СЕМЕЙНЫЙ ИДЕАЛ прорывается даже невольно. Например, когда *й* говорит о своей невестке Неле:

— У меня с ней душевный контакт. Какая она замечательная жена! Умница. Блестяще знает французский. Эстетка. А сейчас и зарабатывает

прекрасно. И все время с детьми. И все — о детях, о муже. А мужу — ни одного слова против. Все у них в доме только так, как он скажет.

Как всегда, *й* смыкает вместе разные понятия. Не оставляет пространства между ними. Когда такое «пространство» вдруг появляется (*й* делает паузу), я задаю себе вопрос: неужели он завидует сыну?

| Волны страха

й решил до конца разобраться в истории своих страхов. Решил проститься и с ними. Я тоже снова задумываюсь над этим сюжетом.

* * *

«СВОБОДА ОТ СТРАХА»

...Ее — как одну из главных ценностей человеческой жизни — обещал дать американцам президент Рузвельт.

Старый вопрос: хочет ли приблизить эту свободу сам человек?

Я не оговорился. Вместо слова «хочет» вроде бы надо употребить слово «может». Но ведь рабы зачастую не покидают своих камер — даже если двери открыты.

* * *

После войны *й* не мог уехать из СССР (Литву разрешили покинуть только бывшим польским гражданам). Однако ведь не уехал и в начале семидесятых, когда началась репатриация советских евреев.

* * *

ВЫБОР ЖЕНЫ.

— Я всегда мечтала об Израиле, всегда в душе была сионисткой, — рассказывает мне четверть века спустя доктор Сидерайте. — А после отъезда Аси и брата совсем затосковала. Яша же был настроен категорично, даже не допускал мысли о репатриации. Конечно, я не могла

уехать одна. Ведь он был серьезно болен! Предать мужа? Нет, нет! Однако я знала: он боится, что я изменю свое решение. Однажды устроил небольшой спектакль по этому поводу. В присутствии наших гостей из Ленинграда — писателя Анатолия Горелова и его жены — заявил с надрывом: «Вот увидите! Скоро Шейнеле бросит меня! Одного. Больного». Я удивилась. У меня не было даже сомнений.

* * *

ФОРМУЛА ЗОЩЕНКО. Казалось, логика *й* очевидна. Кем он будет в Израиле? Нищим, никому не известным литератором. Идиш там не в почете. Жалкое существование. *й* любит показывать книги своих израильских друзей. Мизерный тираж. Целую страницу занимают нередко имена спонсоров: им «автор выражает искреннюю признательность» за сто, двести, триста шекелей.

Его рассказ о творческом вечере Г. Ошеровича в Тель-Авиве. *й* коробит деталь: у входа в зал, на столике, — специальная коробочка для пожертвований в пользу выступающего поэта. «И никто не понимает, как же это унижительно!»

Он отказывается от свободы ради того, чтобы остаться писателем. Но можно ли разорвать эти понятия?

Так поступали многие литераторы-евреи в бывшем СССР. Обманывали себя тем, что сумеют... обмануть режим. Их попытки были обречены не только из-за цензуры или КГБ. Главной была причина, которую (думая, конечно, о себе) сформулировал в дневнике М. Зощенко: «Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации».

* * *

БУДНИ СТРАХА. В молодости он мучительно преодолевал застенчивость.

— Может быть, это была болезнь? Я постоянно краснел. Иду куда-то по делам, еще не вошел в кабинет, чувствую: уже весь пунцовый, пот

катит градом. Знакомлюсь с девушкой — то же самое... Ситуации эти возникали постоянно. Пока не догадался: моим щитом должна быть веселость. Нет, анекдоты почти никогда не рассказывал. Но любой разговор стал начинать с шутки. Застенчивость прошла, растаяла — юмор остался.

Были ли у него «механизмы», приемы для преодоления страха? (9 ноября 90 г.)

* * *

Тема преодоления страхов волнует *й* всегда. То подсознательно (когда пишет в 73-м письмо Асе), то — так часто у писателей — он переносит проблему в творчество.

Интересен в этом отношении непоставленный киносценарий *й* «Прибой».

Герой, как и автор, размышляет о смерти. Просыпается в холодном поту, измученный кошмарами. Чем объяснить все возрастающую тягу Йонаса слиться с морем? Он чувствует: сливаясь с морем, перестает быть одинокой песчинкой в мироздании. Он — часть монолита, часть природы, которая не знает страха.

* * *

Строгий, едва ли не мелочный контроль за собой: не сказать бы лишнего, губящего слова! Опасливый взгляд на телефон. Нотации жене и детям:

— Хватит болтать! Наверняка сейчас прослушивают разговоры всех интеллигентов. Тем более — писателей. Тем более — евреев.

Или:

— Если хочешь с кем-то поговорить откровенно, уходи дальше от комнаты, где стоит телефон. Даже неподнятая трубка таит опасность: она служит отличным микрофоном, который КГБ включает по мере необходимости.

Бесконечные разговоры о хитростях КГБ: «Специально отключат телефон, приходят потом под видом монтера — будто бы ремонтировать; на самом деле — вставить специальный жучок».

Восстанавливаю эти их семейные беседы (пятидесятых–семидесятых годов) с помощью самого *й*, доктора Сидерайте, Иосифа.

— Какой был выход? — переспрашивает *й*. — Во-первых, молчание, почти полное игнорирование телефона. Но это как раз могло вызвать подозрение. Лучше — сознательная дезинформация. Иногда тонкая — с полуправдой, иногда — грубая, с верноподданническими признаниями. А что? Пусть КГБ докажет, что я не правоверный, не их...

* * *

Жизнь идет волнами. И страх — волнами: то приближаясь, то отступая.

й не может жить все время, как плотно сжатая пружина. Распрямляется, дышит свободно. Потом...

* * *

НЕУЖЕЛИ ВОЛНЫ СТРАХА СВЯЗАНЫ С ГЕОГРАФИЕЙ?

Есть такие места — даже внутри советской империи, — где страх *й*, кажется, исчезает. Он постоянно ездит в дома творчества Союза писателей. Три-четыре месяца в году проводит в Коктебеле, Дубултах, Пицунде, Малеевке...

Известные «тусовки» литературной интеллигенции, как сказали бы сегодня. Я тоже помню их атмосферу. Иллюзию свободы. Там *й* не хочется думать о подслушивающих аппаратах. «Пусть магнитофоны записывают — пленки все равно потом перепутают, — шутит одна моя знакомая. — Ведь крамола звучит в каждой комнате».

й в домах творчества раскован. У него здесь точно выверенная роль: многоопытный европеец. Он разрешает себе держаться таким еретиком.

Почему *й* с удовольствием рассказывает мне несколько похожих друг на друга эпизодов? Он когда-то считал их своими победами.

* * *

— В Ялте — лет десять назад — я зло высмеял двух еврейских писателей. О чем они спорили? Да все о том же — о положении еврейской культуры в СССР. По глазам вижу: все они знают, все давно поняли — как и я. Но спорят. Я долблю свое, они, дуэтом, — свое. Ставят «галочку». На случай, если кто-то из нас троих все-таки донесет... Я им это, в конце концов, и объяснил.

— Вообще еврейские писатели (те, что еще остались в Советском Союзе после всех чисток) перепуганы насмерть. Звоню раз одному приятелю в Киев. Поздоровались, перекинулись парой слов. Спрашиваю:

— Как у вас с продуктами?

— Это не телефонный разговор.

И кладет трубку.

* * *

Он боролся со своими страхами, смеясь, издеваясь над страхами чужими.

* * *

...И был еще запомнившийся *й* надолго конфликт его с известным русским поэтом Сергеем О. Сидели они в столовой дома творчества за одним столиком.

«Знакомы были уже прежде, но — шапочно. Потому в первый, второй, третий день обменивались малозначащими фразами — что называется, нюхали друг друга: я — его, он — меня. Потом начинаются дискуссии! Я ругаю советскую политику. Он защищает. И так ежедневно! Наконец, однажды О. не выдерживает. Берет свою тарелку, встает, уходит за другой столик. Громко, на весь зал объявляет:

— Не хочу сидеть рядом с антисоветчиком!

Как прореагировали окружающие? Никак, в сущности. Кто-то засмеялся. Кто-то отвернулся. Кто-то даже голову не поднял. Это было в Малеевке, в семьдесят девятом году».

* * *

Образ правдолюбца. Почти героя. Почти диссидента.

| Пометка для читателя

Страх — фундамент страны, гражданином которой *й* был полвека. Но с годами меняется «качество» его страхов. В 40–50-е: страх тюрьмы, лагеря, физического уничтожения. В 60–80-е: страх лишиться «духовного комфорта», возможности писать...

Впрочем, я не хочу сейчас составлять реестр страхов *й*. Ведь они переплетаются, наплывают друг на друга...

* * *

Увы, страх — это реальность жизни, а вовсе не исключение из правила. Страх как одну из движущих сил человеческого поведения всегда берут в расчет психологи, педагоги, политики.

О страхе перед Всевышним говорится на многих страницах Торы. Но опять-таки — тут уже совсем другое «качество» страха: он не унижает, а возвышает личность. Помогает людям оставаться людьми.

| Ритуалы

«Никогда не сидел я в президиуме. Ни разу не выступил с официальной речью. Не ходил на “торжественные заседания”. И даже на празднование чьих-либо юбилеев.

Ни разу не разрешил я отметить и свой юбилей... 50-летие, 60-летие, 70-летие, 80-летие. Обычно я уезжал в эти дни из Вильнюса.

Тогда было принято награждать писателей грамотами Президиума Верховного Совета Литвы. Так как грамоты я не брал, их отправляли мне домой. У меня в архиве лежат сейчас все эти бумажки...

Зато я имел моральное право не поздравлять и других «по случаю юбилея». И все, по-моему, к этому привыкли.

Могу ли объяснить мотивы собственного поведения? Теперь вот пробую. В СССР, как в любом тоталитарном государстве, были свои ритуалы. В них мало осталось от сути. Я их от себя и отбросил».

* * *

Взвешивал ли *й* меру своей смелости, предел дозволенности? Не сомневаюсь. Т а к о е еще могли вытерпеть.

* * *

«...Однажды в пятидесятые годы перед очередными выборами (куда и кого избирали — уже не помню) меня назначили руководить агитпунктом.

Было это в Союзе писателей. Большой стол, красная скатерть, брошюры, газеты, портреты вождей... Во второй половине дня приходили агитаторы. Составляли списки избирателей, отправлялись уточнять их по указанным адресам...

Очень скоро, однако, я понял: все это фикция, игры взрослых людей. Ну зачем же мне в них участвовать? Постепенно я начал симулировать. В один день ушел из агитпункта пораньше, в другой — вообще не появился.

Наконец, выборы. Они прошли, как и полагалось, с заранее запланированным результатом. Я облегченно вздохнул: игра закончена!

Оказалось — нет! Однажды меня вызвали на заседание президиума Союза писателей Литвы. Один из пунктов повестки дня был посвящен Йокубасу Йосаде, который провалил предвыборную кампанию.

Слушая выступающих, я с ужасом почувствовал: игра действительно приняла очень серьезный оборот. Из всего сказанного на заседании легко напрашивался вывод: член Союза писателей занял антисоветскую позицию!

Я попросил слова. Попытался все обернуть в шутку:

— ...Не понимаю причину волнений. Как это я провалил предвыборную кампанию? Ведь итоги выборов прекрасны: 99,9 процента избирателей отдали свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

Однако мое выступление только усилило напряжение:

— Ах, он еще смеется над нами! Надо исключить Йосаде из рядов советских писателей!

Спас меня Пятрас Цвирка:

— Товарищи, мы не должны забывать, что Йосаде — фронтовик... проливал кровь... имеет награды... сейчас успешно работает в “Пяргале”... подобное случилось с ним впервые... давайте поверим...

Полгода тому назад мне напомнил эту историю наш известный литературовед Витаутас Кубилиус. Составляя антологию документов о литературной жизни Литвы в советскую эпоху, он нашел в архиве стенограмму того заседания». (19 ноября 91 г.)

* * *

«Когда мне исполнилось шестьдесят лет, в Союзе писателей сказали:

— Вам полагается персональная пенсия. Напишите заявление.

— Если полагается, пусть платят. А просить ничего не буду.

Так и остался без персональной пенсии, о чем нисколько не жалею».

| Магия имени

Однажды, рассуждая об особенностях памяти, мы говорим про магию имен.

— Зося. Я назвал так одну свою героиню, проститутку. Потом понял: это была ошибка. Почему? Имя Зося жило во мне многие годы. Зосей звали женщину, которую я любил перед войной. Ей было восемнадцать. Муж Зоси уехал на заработки в Америку. Она осталась одна. Впрочем, вот тут-то мы и встретились. Нет, я не о том — я вовсе не собираюсь рассказывать о нашей любви. В конце концов, Зося отправилась к мужу, родила двух сыновей. Но я опять не о том — не о сюжете ее жизни.

Лет десять назад Зося приехала в Литву, в гости. Не знаю, как попала ей на глаза моя пьеса. «Почему, почему ты дал проститутке мое имя?» — с обидой спрашивала она меня. Зося, конечно, понимала: нет ничего общего между ней и героиней пьесы. Однако ей было больно. Почему?

Наверное, по той же причине, по какой я помнил все эти годы о ней.

| Путешествие в Израиль и обратно

«Мне стыдно рассказывать об этой поездке к дочери. Да, опять подступил страх. Вроде бы на календаре — восемьдесят третий год, я знаю: никто меня не арестует. Вроде бы Израиль так далек от Советского Союза. Вроде бы кругом — свои... Я все это понимаю и — боюсь говорить откровенно. Нет, дочь меня не мучает расспросами. А вот сестра... Никак не дает покоя. Я же выстраиваю мысленно цепочку: у моей сестры — муж, у мужа — тоже сестра, у той — тоже муж,

у них — дети... Скажу что-то не так, аукнется очень далеко. Дойдет до Союза писателей! Больше не пустят за границу.

Словом, я держу язык за зубами! Из-за этого, конечно, тоже возникают конфликты. Как-то раз мы с Ошеровичем отправляемся в гости к известному поэту, пишущему на идиш. Тот начинает со мной прямой разговор о происходящем в Союзе. А я... не отвечаю. «Вы что, Йосаде, боитесь меня?» — «Не боюсь. Но мне нечего добавить к тому, что вы знаете сами»...

Мне постоянно кажется: я и в Израиле — под колпаком КГБ».

* * *

В Израиле *й* опять вспоминает «человека в черном». Его облик, конечно, трансформируется согласно «времени и моде» — суть остается.

* * *

«Перед отъездом меня вызвал к себе заместитель министра. Обычно, если за границу отправлялась какая-нибудь делегация, ее инструктировал капитан или майор. Проводил своего рода семинар: что и где говорить, что можно и чего нельзя делать, как реагировать на происки врага. Для меня сделали исключение — писатель. Заместитель министра краток:

— Товарищ Йосаде, я вас хорошо знаю. (Интеллигентный человек, он, наверное, следил за литературой.) Надеюсь, что за рубежом вы достойно представите нашу великую страну».

й расслышал за интонацией казенной вежливости скрытую угрозу. Так, конечно, и было.

* * *

Все это предшествует встрече *й* с известной еврейской поэтессой Дорой Тейтельбойм и ее мужем.

«...Наш разговор продолжался четыре часа. С одиннадцати вечера до поздней ночи.

Сначала я опять — привычно — неискренен. Хотя разговор неожиданно пошел совсем по другому, чем я предполагал, руслу. Дело вот в чем: мои новые знакомые были коммунистами. Нет, они никогда не видели Советский Союз. Тем не менее, верные своим идеям, стали хвалить СССР. При этом активно ругали Запад! Тут-то я не выдержал.

Опровергаю защитников первой в мире страны социализма, привожу аргументы и... вдруг мысль, от которой холодею: «Что же ты делаешь? Своим друзьям Ошеровичу, Елину ты боялся слово плохое сказать об этой ненавистной тебе империи зла, а тут...»

И — новая мысль: «А ведь они, Дора и Меер, скорее всего, советские разведчики...»

Словом, после того как мы расстались, я долго ходил сам не свой, все ждал: какие страшные последствия принесет мне моя неосторожность?

Прошло семь лет. Давно я понял, что ошибся. Давно живет во мне стыд — и за свой страх, и за свои подозрения. Знаете, я отправил сейчас письмо Доре Тейтельбойм. Во всем признался. Повинился. Если, конечно, простят».

* * *

Он написал это письмо 25 июля 1990-го.

«Милая, уважаемая...

Ах, дорогая Дора Тейтельбойм, вот так и живем в развороченном мире! Убейте, сделайте со мной, что хотите, но я не знаю, как к вам обратиться. Еще пару лет тому назад все было просто. По Библии все сыновья Авраама были друзьями, по Марксу — даже все человечество — товарищи, а сейчас...

Что сейчас — об этом мы оба, извините за выражение, ни черта не знаем.

Уже несколько недель, как меня мучает желание: послать вам известие от случайно встреченного вами в 1983 году человека. Сказать,

что он жив, что все еще пишет пьесы (которые теперь, во время «перестройки», может, легче будет поставить), что он здоров, невзирая на два инфаркта. Еще мне очень хочется сказать вам — сейчас я это уже могу: хотя мы встретились и говорили один-единственный раз, те три-четыре часа, проведенные в вашей тель-авивской квартире, резко вошли в мою память. Даже куда-то глубже, глубже... Вы спросите: почему? Немного терпения...»

Письмо Доре Тейтельбойм. Трудный для старого литератора поступок. Как же он был необходим *ей* во время его подготовки к смерти.

| Последняя любовь

О первой своей любви он молчит долго. А последнюю никогда не скрывает. Конечно, это уже не страсть — надо подобрать другое слово.

* * *

23 марта 95 г. Его просьба ко мне необычна: «Я задумал новое письмо к дочери. Но уже не могу водить перышком по бумаге. Дорогой мой, можно я продиктую вам эти несколько абзацев, а вы их потом отредактируете?»

Письмо *ей* менее всего преследует цели литературные. Он опять фиксирует новый этап своего ухода из мира.

«Как я живу? Прекратил, оборвал очень многие связи — например, с театрами, издательствами. Ты помнишь, сколько места в моей жизни занимали книги? Оказывается, теперь и они мне не нужны. Бог с ними!»

Круг замкнулся? И все же один человек еще способен возродить в его душе гармонию.

«...По-прежнему моя отрада — Саломея, внучка. Недавно она приходила к нам. Говорили с ней о Боге, о начале начал человеческой

жизни. Она понимает все, что происходит со мной. Чувствует остро, как я люблю ее. Глаза ее будто две кометы. Грустные кометы. Иногда она говорит:

— Дедушка, послушай, как я играю на фортепьяно...

Я слушаю, и в моей голове проносится море мыслей. Мне кажется, Саломея уже теперь хорошо знает, что такое одиночество, хотя ей всего девять лет».

Он узнает в маленьком человеке себя. Узнавание себя в другом — это, как известно, и есть одна из высших форм любви.

* * *

Да! В другой раз: «Когда я пишу пьесу, то мысленно всегда советуясь с Саломеей».

| «Страшнее всего — страх»

Природа страхов. Читал ли *й* напечатанные в «Иностранной литературе» (еще в 1985 году) фрагменты из книги американца Нормана Казинса «Врачующее сердце»?

Он не пропускает ни одного номера этого журнала, но просит принести — перечтет.

Говорим потом о книге Казинса долго, часа полтора. *й* прочел Казинса внимательно — думал, разумеется, о себе.

Он сделал в журнале пометки карандашом (за что просит извинить).

Напоминает: в оригинале есть подзаголовок — «Противоядие отчаянию и панике»!

Восхищается эпиграфом (из Книги притчей Соломоновых): «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости».

* * *

Подчеркнуто им в тексте: «Я все больше и больше соглашаюсь с мыслью, что под воздействием страха или эмоционального стресса тело начинает производить самоубийственный яд, и этот фактор глубоко содействует началу заболевания, будь то сердечная недостаточность, поражение суставов или даже рак» (стр. 237).

Впервые ли сейчас *й* делает вывод, что причина его инфарктов — именно страх?

* * *

Одна из глав книги Н. Казинса называется символично: «Страшнее всего — страх».

Казинс не только литератор, автор многих книг — он профессор в каком-то из американских университетов: читает будущим врачам лекции по литературе и философии. О силе страха Казинс пишет, глядя в конкретные ситуации (он встречался с 260 раковыми больными). *й* отмечает строки: «Меня поразило, что у большинства больных наступало резкое ухудшение, когда они узнавали правду» (стр. 235).

— А ведь о близкой смерти, — говорит *й*, — тоже можно думать по-разному. Можно — с испариной от испуга. Можно — с азартом: попробую победить. Можно — почти с радостью: наконец-то освобождаюсь от страхов.

| Между прочи_М

Существование каждого еврея, считали наши мудрецы, бесспорно и ясно. Надо только понять: чего хочет от тебя Бог? В чем великое значение твоей Души? Она, как утверждает Каббала, участвует в акте вечного Творения.

Надо понять это — и следовать своим путем.

«Моя беда, — считает *й*, — в том, что я не сразу разобрался в первом и не был последователен во втором...»

Итог нашего разговора в начале сентября 95 г. Разговор оттолкнулся от деятельности хасидов в Вильнюсе, а пришел к тому, что волнует *й* больше всего.

| Последние страхи

7 ноября 91 г. Они живут в снах *й*.

«Сон надо сразу записать. Хотя бы несколько слов. Обычно так и делаю. Я, кажется, рассказывал вам: просыпаюсь ночью, беру карандаш... А утром нахожу на бумажке те слова-символы. И тогда уж легко припоминаю.

Но вот мой сон.

...Мы сидим за большим столом. Огромная компания. Все едят рыбу. Да, копченую рыбу. Едят торопливо, подхватывают руками и сразу отправляют в рот. Я тоже спешу. Дело в том, что во дворе нас ждет автобус (слышно: включен мотор), всех должны отвезти куда-то. А мы не можем оторваться от рыбы — очень вкусно!

Шофер автобуса все время сигналист: пора... Сигналы становятся резче. И вот уже мои сотрапезники не выдерживают: хватают рыбины со стола, кладут в сумки, портфели — у кого что есть. Наконец, все торопливо уходят.

Я остаюсь один. На столе лежит еще маленькая рыбешка. Прячу ее в свой портфель, нет — в целлофановый пакетик. Тоже выхожу на улицу...

Я опоздал! Автобус уже уехал».

— Вы пытаетесь расшифровывать сны?

Он (полушутливо, полусерьезно):

— Конечно. Я специалист. Фрейд! А все сонники — это ерунда.

— Так как же вы расшифровали свой сон?

— Еще не расшифровывал. Но ведь тут простой случай: смысл сновидения очевиден. Я отстал, отстал. Другие берут от жизни все, что можно, а я отстал. Мой автобус ушел... Между прочим, этот мотив повторяется в моих снах в нескольких вариантах. И всегда я остаюсь один.

* * *

Называю этот страх *й* «страхом напрасно прожитой жизни».

* * *

Вечное его опасение: «Вдруг так и не состоюсь как писатель?»

Последний страх? Он мучает почти беспомощного старика. Терзает сильнее всего. Поэтому *й* перебирает мысленно — один за другим — замыслы нескольких пьес. «Вдруг большая удача?» И тогда он оправдает пропавшие годы...

Этот страх самый стойкий. Несколько лет назад *й* «ушел в ложу», куда не впускают внешние раздражители. Но все же он проанализировал ситуацию не до конца. Не подумал, что этот страх останется. Его трудно заметить — легко перепутать с естественным чувством авторской неудовлетворенности.

* * *

18 ноября 91 г.

— В молодости мое отношение к смерти легкомысленно. В молодости (если человек здоров) сознание отталкивает мысль: я умру. И даже если думаешь об этом, то подобно герою Толстого: все умрут, только не я.

Теперь смерть рядом. Боюсь ли ее? Боюсь: не успею завершить свой еврейский цикл. Другого страха нет. Вообще нет чувства: смерть —

страшно. А боязнь не успеть растет с каждым днем. Ведь мне восемьдесят. В мои годы мало кто писал. Может быть, Бернард Шоу, Ибсен... Нет, Ибсен не дожил до восьмидесяти. Потому не хочу рисковать, хотя эксперименты так необходимы в литературе. Только ведь я отдаю целый год работе над пьесой, го-о-д ...

* * *

Эти, последние, страхи покидают *й* внезапно — вытесненные болью, усталостью от борьбы с болезнью и мыслями о скорой — уже совсем реальной — встрече со смертью.

«Я перестал думать о пьесе. Закончу или нет? Какое это имеет значение?» (15 октября 95 г.)

| Прощай, Дон Кихот*m*!

23 сентября 95 г. На самом краешке жизни человек торопится уладить земные свои дела.

й не волнуют проблемы имущественные. Ему бы — дописать, додумать.

И вот замечаю: что-то новое появилось в последнее время в его отношении к отцу.

Если говорить точно, отношение это менялось в течение десятилетий. Ненависть (в отрочестве), презрение (в юности), неприятие социальной позиции — «эксплуататор» (в молодости)... Потом — долгие годы — глухое раздражение, в сути которого непросто разобраться.

Как ни странно, весь этот калейдоскоп чувств отражен в наших беседах, в письмах *й* к сестре и дочери. Погружаясь в прошлое, он как бы живет там: реагирует на людей и события не из «сегодня» — из давно растаявшего «вчера».

* * *

22 декабря 93 г.

«...О времени и месте убийства (отца. — Прим. Е.Ц.) я кое-что выяснил после войны, но какое-то мистическое чувство не позволяло узнавать больше об этом трагическом событии. Я боялся. Ужасной правды? Нет! Так чего же? Не знаю. В общем, что-то я понимаю, но словами выразить бессилён. Факт тот, что пробежали десятилетия, хотя голос совести все чаще настойчиво требовал: “В конце концов, должен же ты узнать!” — Этого я сделать не осмеливался».

Перечитывая сейчас письмо *й* к дочери, думаю: что же все-таки было причиной такого промедления? Неужели обиды (детские, юношеские — не прощенные, не смолкающие в нем) подсознательно заставляли *й* откладывать поиск убийцы? Или напротив: собственная вина перед памятью отца подталкивала *й* вновь и вновь искать в прошлом раны, нанесенные отцом? Он растравлял эти раны, не давал зажить. Искал для себя оправдания.

* * *

6 февраля 95 г. Образ отца явно мифологизируется *й*. А раз так, то к этому персонажу (наполовину уже литературному) он становится снисходительнее.

Терпимость объясняется и другим. Давно уже *й* старше отца. Тот погиб в пятьдесят три. Сыну теперь на тридцать лет больше.

* * *

Отец воспринимается как сверстник. И ошибки его кажутся мельче, незначительнее. И сходство между ними, которого сын так пугался всегда, представляется почти очевидным.

В конце пути *й* с удивлением подмечает: в сущности, они оба жили одинаково — в плену иллюзий. Да, да, «выходит так, что и я, и отец были оба обмануты и других обманывали...»

Ему — *й* опять удивлен? — хочется даже защитить отца. Правда, от кого? От себя.

4 апреля 95 г. Примечательна настойчивость, с какой *й* приводит в наших разговорах совсем другие, чем раньше, подробности собственного детства.

Раньше: ...Ругань между отцом и матерью, которая сверлит до сих пор его уши... Отец во время их ссоры бросает в маму горящую свечу...

Теперь: ...Ссор в нашем доме не было...

Раньше: ...Почти каждый вечер отец бил нас, детей... Болела не сама боль — обида...

Теперь: ...В детстве я не знал, что такое «кулак»...

Прежде, вспоминая об отце, *й* часто видел перед собой его покрасневшее лицо, нервно трясущиеся руки (так выглядит отец вечерами, когда играет в карты и — проигрывает). Иногда вспоминал даже не лицо — его фигуру на городской улице: ни от кого не прячься, отец открыто идет к Еве.

Теперь *й* отказывается кого-либо судить. Да и грехи отца — они ведь не больше, чем его собственные, чем грехи всех других — грешных — сынов человеческих.

Так при трезвом свете смерти вдруг меняется для *й* образ отца. Нет, это уже не озлобленный неудачник. Это человек, который родился и живет не там, где должен был родиться и жить. Он сентиментален, романтичен, готов всегда откликнуться на чужую беду.

Его трагедия — обычная трагедия провинциального Дон Кихота.

| Из последних рассказов

13 октября 95 г. *й* вздыхает: «Ах, как жаль, что многое я все-таки не успел рассказать вам!»

Говорю: еще не поздно. Прислушивается к себе. И отвечает мне не сразу — из какого-то своего далека: «Нет, поздно. Совсем поздно. Но все-таки попробую кое-что вспомнить».

* * *

Символично: он рассказывает о двух женщинах, которые когда-то любили его. Прощается с ними, хотя ни той, ни другой давно нет на свете.

Опять — любовь и смерть. Рассказы *й* подводят черту под этими темами в наших беседах.

* * *

«Я сам не знаю, почему так долго молчал о своей первой любви. Вернее, иногда я упоминал про начало этой истории, но никому и никогда — про развязку.

Ее звали Тереза. Тогда ей было пятнадцать, мне — шестнадцать лет. Мы стояли, что называется, на разных полюсах жизни. Я еврей, она — наполовину литовка, наполовину — полька. Я — сын богача, ее отцом был пьяница, доведший семью едва ли не до нищеты.

И мы понимали: нашу любовь надо прятать от всех. Мы встречались где-нибудь за городом, или — в парке, в темной аллее, или — под мостом, куда, кроме нас, никто, кажется, не забредал.

Тереза была веселой и капризной. Впрочем, цель ее капризов была проста: ей хотелось, чтобы я ее успокаивал. Все наши встречи состояли из игры и — любви. Терезу переполняла веселая энергия. Она обычно не шла — летела. Едва ли не в прямом смысле слова. Я догонял ее. Извинялся за мнимые обиды, целовал. Тереза открыла мне ту любовь, которая приносит только удовольствие. Этого мало? Раньше мне казалось: любви без духовности не бывает. Но, наверное, я не точно представлял самое это понятие — духовность.

Однако вернусь к истории своей давней любви. Вскоре я уехал в Каунас. Тереза осталась в нашем городке. После войны я искал ее. Но Тереза исчезла. Бесследно.

Весточку о ней я получил неожиданно. Сравнительно недавно, лет пятнадцать тому назад. Позвонила какая-то женщина:

— Ваша Тереза на днях умерла.

Я едва выдохнул:

— Как так?

Оказалось, перед войной она вышла замуж. Во время оккупации муж Терезы сотрудничал с немцами. Вроде бы даже участвовал в убийствах евреев. Они разошлись. Оставшись одна, Тереза спилась — болела душа.

Ее поместили в психиатрическую больницу — сначала в Калварии, потом — в Вильнюсе. Здесь она провела десять лет. Были периоды, когда чувствовала себя нормально. Тогда работала на больничной кухне. Рано или поздно болезнь подступала снова, и Терезу отправляли назад, в палату.

Однажды она рассказала больничной подруге о нашей любви.

— Йосаде? Да ведь он писатель! Живет в Вильнюсе.

— Знаю. Видела его статьи, книги, — ответила Тереза. — Но я боюсь поднять телефонную трубку.

Она запретила это и подруге.

Телефонный звонок у меня дома раздался слишком поздно.

Я долго не мог прийти в себя. Как же так? Моя Тереза жила рядом со мной, страдала, была лишена, может быть, самого необходимого.

Я так легко мог облегчить ее участь — приносить передачи, давать деньги (кстати, главный врач больницы был добрым моим знакомым). Но гордость всегда преобладала в характере моей Терезы.

На кладбище мы отправились вместе с позвонившей мне женщиной. Конечно, я принес Терезе цветы. Нанял потом какого-то человека, чтобы он привел в порядок могилу. Кажется, никогда в жизни я так не плакал. Навзрыд.

Был ли я еще у Терезы? Нет. Я боялся. Боялся себя самого».

И еще один портрет набрасывает он торопливо. Своим глуховатым, едва слышным уже голосом:

«Моя бабушка — со стороны матери — считала всегда: я самый умный человек в нашем городке! Может быть, потому что я был очень похож на нее?

Бабушка относилась ко мне как ко взрослому. Я писал под ее диктовку письма. Я сидел возле нее за обеденным столом.

Бабушка не переставала удивляться:

— Янкель, голова твоя похожа на морковку. Но какой же ты умный!

Я знал: бабушка умеет заговаривать смерть. Делала она это разными способами. Вот один. Самый верный: каждый день бабушка читала какой-нибудь псалм, как и полагается набожной еврейке. Но всегда словно бы обгоняла календарь. Логика ее была такой: «Я уже прочитала завтрашний псалм. Значит, Бог оценит это и сохранит меня хотя бы еще один день».

И все-таки бабушка умерла.

Она умерла у меня на руках.

Почему я был тогда один у ее постели? Не знаю. Но я почувствовал вдруг: бабушка сейчас уйдет в другой мир.

Я чуть приподнял ее голову, прижал к себе. Она постепенно успокоилась. Навсегда».

...Спустя минут пятнадцать, когда мы говорим о другом, *й* возвращается к этому рассказу. Как всегда, хочет досказать:

— Все-таки не понимаю: почему я был один возле умирающей? Любил ее больше всех?

Помолчав, находит ответ, который нисколько не удивляет меня:

— Я был там оттого, что уже тогда очень хотел понять тайну смерти.

| Старый друг

Не было, пожалуй, ни одной нашей встречи, чтобы *й* не произнес это имя: Гирш Ошерович.

— ...Старый, старый друг! Я понимал его с полуслова, а он — меня. Когда-то мы были всегда рядом: одновременно начали публиковаться, работали вместе в газете, входили в одну литературную группу... Почти два брата. Хотя были так непохожи. Меня-то вы знаете. А Гирш... Он — святой человек, скромник, моралист. Словом, наши отношения — это притяжение двух полюсов.

* * *

Ранней весной девяносто второго, в Тель-Авиве, я шел на встречу с Гиршем Ошеровичем. Хотел расспросить его о судьбе знаменитой «Черной книги». Над ней работала в годы войны большая группа журналистов и писателей — в том числе Йосаде и Ошерович. Как известно, «Черную книгу» составили уникальные свидетельства о злодеяниях против евреев на оккупированных территориях СССР и в лагерях уничтожения Польши. Однако история «Черной книги» таила и таит загадки. Сборник был уже готов, когда набор рассыпали — говорят, по приказу Сталина.

* * *

...Конечно, по дороге к Ошеровичу я вспоминал и рассказы *й* о своем старом друге.

* * *

«Я много раз думал об иронии судьбы. В данном случае — судьбы Ошеровича.

Гирш всегда был свехосторожен. В первую очередь — принципиально сторонился политики. Даже в молодости, будучи убежденным

сионистом, он формально не хотел состоять в их организации. Так было и при Советах. От противоречий жизни Ошерович уходил в свои стихи — многие из них напоминали филигранно отточенные философские трактаты... После войны мой друг с радостью стал корреспондентом в Литве московской газеты на идиш «Эйникайт». Ему нужно было в основном писать о новостях культуры. Однако тут-то и подстерегла Ошеровича судьба!

Газета, где он работал, была органом Еврейского антифашистского комитета. Всем известно: во время войны комитет способствовал тому, чтобы евреи всего мира оказали финансовую поддержку СССР в борьбе с фашизмом. Ну а пришла победа — евреи стали все больше колоть глаза Сталину. В конце сорок восьмого года комитет был внезапно распущен. Большинство его активистов и сотрудников арестовали (а многие позже погибли). Увы, Гирш не избежал этой участи».

* * *

«Помните, я рассказывал вам, как сжигал еврейские книги? Зимой сорок восьмого-сорок девятого они превращались в пепел. Только одну книгу я не смог бросить в печь — не поднялась рука. Это была Тора. Я уничтожил тогда лишь титульный лист с дарственной надписью Ошеровича...

История эта имела свое продолжение.

В пятьдесят шестом мой друг вернулся из лагеря. В один из вечеров он сидел у меня дома. Не помню, в какой именно момент Ошерович подошел к книжным полкам, стал осматривать остатки моей библиотеки. Вдруг сказал:

— Якоб, когда-то я подарил тебе Тору. Ты сохранил ее?

— А как же!

— Покажи. Где она?

Конечно, я не мог это сделать. Он тотчас заметил бы отсутствие странички со своей надписью. Какое-то время я имитировал поиски... Наверное, он что-то понял, догадался:

— Не ищи сейчас. Потом покажешь».

* * *

«...И опять прошло много лет. В письме Асе я вспомнил этот случай. Опубликовав письмо в газете, послал его Ошеровичу.

Свой ответ он начал с комплиментов: это, мол, надо уметь — так раскрыть душу, так рассказать нелестную для себя правду.

А закончил Ошерович упреком: о многом в истории нашей дружбы я промолчал».

* * *

Что упустил *й*? Только ли эпизоды их совместного — во время эвакуации — пути на Восток?

* * *

Одна линия их отношений кажется мне поистине напряженной. Впрочем, если точнее, — это касается отношений *й* с женой Ошеровича. А еще точнее — речь опять о молчании.

* * *

«...На следующий день после того, как арестовали Гирша, мы столкнулись с Ривкой, его женой, на лестнице Союза писателей. Я поднялся наверх, она спускалась вниз.

Кивнул головой. Она в ответ — тоже.

И все. Ни слова больше. Точно едва знакомы. Так продолжалось три или четыре года. Пока Ривка работала в Литературном фонде Литвы.

Литфонд и Союз писателей находились, как и теперь, в одном здании. Мы встречались ежедневно. Вот так же, на лестнице.

В каком-нибудь кабинете. В библиотеке. И — ни слова. Только кивок головой.

«Как Гирш? Пишет? У тебя есть хоть какие-нибудь известия о нем?» Я спрашивал это мысленно. Вслух — боялся. Я знал: за мной следят, видят каждый мой шаг.

Это была страшная ситуация. Ложная. Унизительная. Приходя вечером домой, я вспоминал свою встречу днем с Ривкой, однако жене ничего не рассказывал: не хотел втягивать ее в свои мучения. А утром, отправляясь на работу, ждал — стыдясь себя — встречи новой».

* * *

И рассказывал мне эту историю много раз. Дважды (7 октября и 20 ноября 91 г.) я записал ее на магнитофон. Чем эти рассказы отличались друг от друга? Одним нюансом. Иногда И утверждал: это был их общий, пусть и необсужденный, не высказанный вслух план:

— Ривка была очень рациональной женщиной. Мужская голова! И она все поняла... Мы друг друга очень хорошо поняли. Она не обиделась на меня.

Но, случалось, И видел ситуацию несколько иначе. Особенно когда я спрашивал — без всякого снисхождения к нему: «Так вы полностью разорвали отношения с женой друга?.. Вас парализовал страх?.. Трудно ли ей жилось тогда?..»

Но И не нуждался в снисхождении:

— Я ни разу не был у нее дома после ареста Ошеровича. Боялся. Материальные трудности? Думаю, их не было. Ривка, как и Гирш, аскетична во всем. К тому же ей помогали. Один даст десять рублей, другой — двадцать. В том числе и я.

— Вы и деньги отдавали ей молча?

— Нет, это делал не я. Я будто не знал ничего... Да, я не герой. Не могу похвастаться.

* * *

Потом *й* стало легче. Жену врага народа Ошеровича уволили из Литфонда.

— Руководство Союза писателей не хотело ее трогать. Ни в какую. Потому-то Ривка после ареста мужа долго работала директором Литфонда. Но госбезопасность настаивала, давила... В конце концов, ее выгнали.

* * *

«Однажды услышал: Ошерович вернулся из лагеря! Я почувствовал, что должен немедленно увидеть его.

Однако боюсь: как посмотрю в глаза другу? Тем не менее сажусь в машину. Еду.

Мы расцеловались. Даже заплакали оба. И — ни слова о том, что я так боялся вспоминать.

Было утро. Ривка поставила на стол чай, какие-то бутерброды. И тоже — ни слова о тех молчаливых встречах».

* * *

«Души наши с Гиршем близкие. Тянутся друг к другу. Так что вскоре все стало, как прежде. Почти ежедневно они с Ривкой у нас в гостях. Или мы с Шейнеле — у них.

Между прочим, Ошерович совсем неплохо выглядел. Видимо, в последние месяцы его заключения в лагере был уже другой режим. Помягче. Ошерович, наверное, там работал. Может быть, неплохо устроился — он ведь всегда умел хорошо контактировать с людьми.

Я говорю «видимо», «наверное», «может быть» — Ошерович рассказывал о лагере скупно. А меня — вы ведь знаете мой характер — интересовали подробности. Как его взяли? Что было в тюрьме? Я слышал уже: мало кто выдерживал допросы; почти все арестованные по делу Еврейского антифашистского комитета возвели на себя напраслину...

При встречах я повторял одно и то же: «Тебя били? Ты признался, что был шпионом?» Он отвечал коротко: «Нет. Нет».

Так же уклонялся Гирш от моих расспросов и тогда, когда я был у них в гостях в Израиле. Помню, Ривка готовила нам очень вкусное блюдо — маленькие кусочки картофеля, по-особому обжаренные вместе с маленькими же кусочками курицы. Я задавал вопросы. А он все так же твердил: «Нет!»

Впрочем, он чуть-чуть рассказал о другом. В самом начале, еще в Вильнюсе, он сидел в камере со знаменитым философом Карсавиным. Они не скрывали друг от друга ничего».

* * *

Я припоминаю все это, когда иду к Ошеровичу. Вот и нужный мне дом. Скромная квартира — типичная советская малометражка. Две проходные комнаты, маленькая кухня. Потрепанная мебель. Стеллажи с книгами. Два старых человека, которые — по привычке? — сдержанны и — одновременно — гостеприимны.

Когда я начну разговор об *й*, они оборвут:

— Спасибо. Мы все о нем знаем.

И добавят вежливо:

— У нас регулярная переписка.

| Штрихи к портрету антисемита_a

Портрет этот возникает в наших разговорах с *й* не случайно. Скажу сразу: в портрете отсутствуют полутона.

«Конечно, — рассуждает *й*, — из-за антисемитизма пролиты реки крови. Тем не менее не надо думать о какой-то особой ненависти человечества к евреям. Известен закон: организм отторгает чужое. Люди инстинктивно отталкивают все, что противостоит им, — стиль, образ

жизни, характер мышления. Так везде и всегда. А евреи в течение тысячелетий жили в диаспоре. Были чужими...

Конечно, над чужим смеются. Глядя, как кто-то поглощает не знакомую нам пищу, мы подавляем в себе улыбку. Блюдо же совсем экзотическое вызывает протест. Незнакомые обряды рожают подозрение... И только интеллигент задает вопросы: как? почему?

Среди интеллигентов тоже бывают антисемиты? Значит, это не интеллигенты».

* * *

Противоречие, которого *й* не замечает. Согласно его логике антисемитизм изживет себя, если все евреи соберутся на Земле обетованной. Однако ведь *й* — за вечную диаспору. Значит, и за вечный антисемитизм?

* * *

В его последней пьесе тоже есть портрет антисемита. Но портрет этот гораздо многомернее, сложнее. *й* не повторяет здесь расхожие, пусть и верные, слова.

| Последняя пьеса

Солгу, сказав: с этой пьесой *й* мучился больше всего. Так — с каждой его пьесой. А он их написал в пору нашего знакомства две, да одну не закончил.

Не закончил — именно эту.

Говорю в прошедшем времени: *й* перестал уже работать над пьесой. Все происходит так, как он предупреждал. Доктор Сидерайте подтвердила недавно: состояние здоровья *й* резко ухудшилось. (20 сентября 95 г.)

* * *

ГОЛОС КЛЕНА. Замысел возникает, что называется, на моих глазах. В письме Асе, где *й* размышляет о литовско-еврейских отношениях, меня останавливает образ дерева: «Клен! Какой красивый! Какая величественная крона!»

Клен растет в небольшом литовском поселке — во дворе дома, куда *й* приводит поиск убийцы отца.

й кажется: клен вырос, «напоенный отцовской кровью!.. Вернувшись в Вильнюс, едва ли не каждую ночь я слышал отцовские хрипы и ясно представлял себе, что, невзирая на все законы природы, его кровь сопротивляется, не хочет уходить в землю...» И вот кровь отца «задела чуть увядшую веточку и напитала ее».

Так и выросло дерево.

* * *

Неожиданная идея: письмо *й* хотя бы читать со сцены. Звонки актеров, несколько визитов к нему режиссера. Сначала удивляюсь: история театра знает не так много примеров, когда публицистический текст разрастается в пьесу, спектакль. Но оказывается, и здесь не все просто: режиссер предлагает *й* написать сценарий. Герой должен вести диалог с... кленом.

й советуется со мной: насколько такой сценический ход логичен? Интересен ли?

* * *

В течение нескольких дней стараюсь рассеять его сомнения. Напоминаю: то, что голос дерева может быть «убедителен» для читателя и зрителя, в XX веке доказали многие писатели. Например, латиноамериканцы. Тот же Габриэль Гарсиа Маркес. Мои доводы бьют в одну точку, все в ту же: *й* должен работать, работа продлит его жизнь.

ОЧКИ И БОТИНКИ. Единственное, что точно знает й о судьбе своих родных, — некоторые подробности убийства отца.

«...Эти месяцы после моего возвращения с фронта были тяжкими. Никто ничего не мог мне рассказать. Что делать? Вдруг одно имя мелькнуло в памяти: Ионас Кайрис.

Да, да! Именно этот человек поможет мне! Я помнил Кайриса с детства. Он был торговым партнером отца — продавал на каунасском рынке вязаные кофты, выпускавшиеся на нашей фабрике. Кайриса мы все очень любили. Его порядочность была не показной. Глубинной. Приезжая в Калварию, он останавливался у нас. Днем непременно отправлялся в костел.

Я нашел Кайриса легко. В том самом доме, где не раз бывал раньше.

Он и в самом деле рассказал немало. Оказывается, узнав о начале войны, родители собрали в повозку свои пожитки и отправились в Каунас. Ко мне. Они не подозревали, что меня уже нет в городе.

В Каунасе появилась одна только мама. Она стояла перед Кайрисом — рыдая, держа в руках отцовские ботинки и очки.

Их остановили по дороге, возле городка Казлу-Руда. Люди с белыми повязками приказали занести вещи в какую-то избу. Потом отвели отца в глубь двора. Мама услышала выстрелы. Ей даже не разрешили подойти к телу мужа. Через несколько минут отдали ботинки и очки.

Мама точно описала Кайрису место. Так точно, что я легко нашел его потом. Спутать было нельзя. Деревенька упиралась в шоссе. А других рядом не было. И дом возле дороги по-прежнему стоял в одиночестве.

Мама? Прожив несколько недель у Кайрисов, она попала в гетто. Кайрисы приносили ей туда пищу — в условленное место, к забору. Однажды мама у забора не появилась...»

* * *

В прошлом у них много общего — у автора и его героя. А настоящее?

Господин Биндер приехал в Литву из Израиля. Он привез с собой те самые старые ботинки — чтобы поставить их туда, где отца застрелили. Не забыл и очки — через них отец в последнее мгновение увидел небо.

* * *

ТЕМА ВОЗМЕЗДИЯ. Всегда ли необходимо оно?

«В конце концов, человеку за все воздает сама жизнь». *И* снова приближается к этой истине, встретив убийцу отца.

Жалкий старик, в теле которого разрастается опухоль, а еще раньше разросся страх; сопливая малышка на руках («последняя радость»); скороговорка, за которой легко открывается именно это — возмездие жизни: «С той поры и началось...»

А еще *и* слышит голос клена, отцовского клена: «...Оставь в покое этого человека, забудь на этот раз про сыновний долг... Так Господь устроил этот мир — что предано земле, должно быть забыто».

И подходит здесь к главному. Может быть, к самому больному для себя: «...Ночами отцовский клен снова и снова рассказывает мне ту особенную правду о многовековой истории нашего народа, которую мне вбивал в голову учитель гимназии Шульгассер, то, о чем я потом читал, думал и заложил себе глубоко в сердце: невзирая на непрекращающиеся вековые преследования, погромы и геноцид — мы ПРОЩАЕМ! Ненависть к злодеям, хотим мы этого или нет, незаметно для нас тает и пропадает... Некоторые с досадой скажут, что простить такое — значит унижить себя. Но история евреев доказывает: это, напротив, — не слабость, а сила, которая позволила евреям дать мировой культуре, цивилизации те неисчислимы богатства, которые она дала».

* * *

Первая часть пьесы напечатана в газете «Шяурес Атенай» («Северные Афины»).

И опять далеко ушел от своего замысла! Вот что хотел он когда-то поставить в центр пьесы: сын ищет убийцу отца; долгие и то-скливые беседы человека с деревом, которое было свидетелем преступления.

Неожиданно ли то, что на авансцену вышел убийца? Его зовут Паулюс Лапенас. Это уже не человек с заискивающей улыбкой, который плаксиво говорит себе: «Все кончено». Разумеется, жизнь Лапенаса — тоже на самом излете, однако он ищет оправдание своему преступлению, пытается даже выстроить некоторым образом «философию».

* * *

И так объясняет мне, почему трансформировался его замысел:

— Однажды ночью я сказал самому себе: «Ты должен поставить рядом убийцу и жертву. Пусть посмотрят друг другу в глаза. Пусть каждый скажет свою правду».

* * *

Отвратительно ли копаться в душе существа, про которого ты думаешь: «Он убил моего отца»?

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО ПИСАТЕЛЯ.

* * *

К тому же издавека тянется традиция — от самых истоков литературы: постичь душу заблудшего, сколь ни велик его грех — понять. Принцип «двойного зрения» в искусстве естествен. В отличие от реальной жизни.

Я не вижу парадокса и в том, что, создавая образ убийцы, *й* отдает Лапенасу свои, выстраданные, мысли о мире и человеке.

* * *

Почему убивали евреев? Неужели все так просто?

Алчность. Зависть. И — чтобы оправдать себя перед Богом и людьми — культивирование обид. Крупных или мелких — какая разница?

Других причин *й* не видит. После войны он встречается с уцелевшими евреями. Все тот же вопрос: почему?

Кажется, этот вопрос он задает и мертвым. Их лица сейчас постоянно всплывают в памяти *й*.

Лицо Рахель. Первой красавицы в городке. «Ее долго мучили, долго терзали на площади — в первый же день прихода новой власти».

Лицо трактирщика из Калварии. «Его сначала прятали крестьяне. Конечно, за деньги. А потом выдали гестапо. Грязного, оборванного, избитого, привязали к столбу — возле трактира, которым еврей еще недавно владел. Так стоял он целый день на солнцепеке. Пока не сжалились — не убили, как собаку, у озера».

* * *

Жизнь двух народов шла как бы параллельно. Не только в геометрии — в жизни параллельные дороги не пересекаются. Вот почему народы, как и люди, часто не понимают друг друга. Вот причина того, что можно было бы назвать национальной бестактностью.

— Но разве за бестактность убивают? — недоумевает *й*.

Вопрос его риторичен. Уж он-то знает: убивают. Убивают и просто так. Чтобы заглушить свою бездонную тоску, дисгармонию с миром, свою обиду не на соседа — на самого Бога.

* * *

ПРЕДЫСТОРИЯ того летнего дня, когда совершилось убийство.

В ранней юности Паулюс Лапенас учился в Алитусе, жил на квартире у евреев. Он не скрывает: бездетные хозяева относились к нему как к собственному ребенку; бесконечно воспитывали — в конце концов, надоели с нравочениями. В душе Паулюса росло раздражение, которое символично соединилось с одним навязчивым образом. У евреев была лесопилка: «...Вы бы видели, с какой радостью они рубили леса и превращали их в бездушный товар!»

* * *

Нетрудно догадаться: конфликт в пьесе *Й* — это вовсе не конфликт между евреями и литовцами, но столкновение между мертвым, механистичным и — живым. Между свободой и — рабством. Убийство для Лапенаса — это его бегство «из рабства и несвободы. Не было вопроса — хорошо это или плохо. Был праздник».

Итак, человек, уничтожив себе подобного, прислушивается к собственным ощущениям. Открывает: «Я опять — органичная частичка природы». Лапенас наконец сбрасывает с себя путы цивилизации. Наконец-то он живет по законам естества. «А что в природе происходит, вы знаете: сильный давит и душит слабого».

Й каждые несколько лет перечитывает Достоевского. Разумеется, он не хочет сделать образ Лапенаса однолинейным. «...Это был особый день. Он повернул... или вывернул мою жизнь. Бес знает. Говорю особый, но слово неточное: день был роковой... до него я был, как вам сказать, слепой... За ту фиесту мне пришлось потом дорого заплатить».

* * *

Лапенас говорит все это сыну убитого им еврея.

* * *

Нет, мне не нравится концепция *й*. Она кажется мне умозрительной. А я помню конкретное — например, недавно обнаруженные в Литовском центральном государственном архиве списки узников Вильнюсского гетто.

Монотонное перечисление фамилий, имен, профессий, адресов... Это была лишь часть, небольшая уже часть вильнюсских евреев: они прошли через «акции» уничтожения, голод, болезни, издевательства и — уцелели к маю сорок второго, когда проводилась «перепись населения». Тогда еще уцелели.

* * *

Той же ночью, однако (с 6 на 7 апреля), проснувшись, я отчасти понимаю правоту *й*. Умирая, он мысленно поднимается выше конкретных судеб. Конечно, он знает: человека убивали из-за куска хлеба, из-за летнего платица, из-за того, что кому-то не понравился чей-то нос... Но *й* видит за всем этим даже не столкновение народов — Добра и Зла, цивилизации и природы.

* * *

СЛОВО САРТРА. Психологический портрет Лапенаса в пьесе *й* удивительно схож с тем портретом антисемита, который дает в своем знаменитом эссе Сартр:

«...антисемитизм захватывает душу человека целиком... совершенно так же, как истерия»;

антисемит — «это попросту человек, который боится. Не евреев, разумеется, — самого себя, своего сознания, своей свободы, своих инстинктов, своей ответственности, одиночества, перемен, общества и мира — одним словом, всего, только не евреев. Это трус, не смеющий

признаться в трусости самому себе... Существование евреев позволяет антисемиту подавить в зародыше свое недовольство жизнью».

Между прочим, я знаю, что эссе Сартра *Й* не читал.

* * *

После публикации в «Шяурес Атенай» он ждет телефонных звонков. Дискуссий:

— А как же! Ведь это в литовской литературе впервые... Да, впервые крупно, изнутри показан убийца евреев. Впервые — его исповедь... Значит, будут голоса «за», как и голоса «против»... Значит, будем спорить.

Тишина. Ни одного отклика в прессе. Ни одного телефонного звонка.

* * *

«Я снова говорю преждевременные слова... Потому-то на меня выливают ушаты грязи. Или делают вид, что не слышат».

* * *

Й понимает: пьесу он уже не закончит. Однако самодисциплина заставляет его позаботиться — нет, не о рукописи, не о черновиках даже — о мыслях, идеях, которыми переполнен. Он несколько раз говорит о дальнейшем развитии пьесы со мной. Но справедливо тревожится: мы беседуем по-русски, пишет *Й* по-литовски — языковое несовпадение может помешать потом, после его смерти, точно восстановить замысел.

Однажды *Й* сообщает мне радостно: ему согласился помочь журналист Гинас Дабашинскас.

Й рассказывает ему о коллизии, предыстории пьесы, о персонажах и прототипах (частично эта беседа опубликована в газете «Литература ир мянас»).

* * *

Кстати, есть еще один человек, которого *й* вовлек в орбиту своей работы. Это переводчица Альма Лочерите-Дале.

Школьная подруга Аси: живет сейчас в Норвегии, приехала в Литву проведать мать, с детства душевно привязана к *й* и доктору Сидерайте. Именно после их бесед у *й* рождается четкая конструкция второго акта.

Итак, герой пьесы должен раскрыть тайну уже двух убийств — своего отца и своей первой жены, литовки. И уже два клена участвуют в действии.

«Альме» — посвящение *й* к публикации в «Шяурес Атенай».

* * *

Опять обычная для него в процессе работы смена названий. Вначале хотел назвать пьесу то одной, то другой строчкой из Евангелия. Сейчас: «Сумасшедший финал».

| Подводя итоги

Прощаясь с жизнью, он постоянно подводит итоги. Иногда делает это сознательно, иногда — так уж устроен его ум — невольно.

20 апреля 94 г. Прихожу к *й* перед своим отъездом в Израиль. «На два месяца? Увидимся ли?» Но стряхивает грусть, как капли дождя, — просит передать свою книгу «Захлопнутые двери» библиотеке Иерусалимского университета. (Одновременно это и Национальная библиотека Израиля.)

й всегда серьезно относится к посвящениям. Конечно, надпись на книге он продумывает заранее. Сейчас, при мне, лишь переносит текст на идиш с маленького листочка на страничку книги:

«Библиотеке Иерусалимского университета.

...Эту книгу вам дарит бывший еврейский писатель, пишущий теперь на литовском языке. Тема (в форме писем дочери и пьесы) — очень сложные, трагические еврейско-литовские отношения до войны, во время войны и после войны.

Автор Йокубас Йосаде.

P.S. Я родился в Литве, в Калварии, в 11 году, в августе, 15 дня. После возвращения с фронта живу в Вильнюсе. Адрес: Витауто, 3–2, телефон 731000».

Он откладывает в сторону книгу, но не закрывает, с некоторым недоумением всматриваясь в прыгающие строки:

— Вот тайна тайн. Мечтал. Любил. Воевал на фронте. Шел на трагическую битву с самим собой. Мучился за письменным столом. И — все. Вся моя жизнь уместилась в нескольких словах.

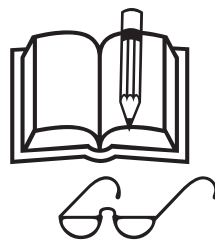
| Между прочим

10 сентября 95 г. Да, судьба каждого из нас имеет закономерное, ясное завершение, сколь бы запутанны ни были наши дороги. Так в чем же итог его жизни? Задав себе сегодня этот вопрос, я отвечаю: может быть, и умрет свободным человеком.

«Неужели все?» — переспросил себя. И тут же опомнился: а разве этого мало?

СМЕРТЬ И НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПОСЛЕ

Начало тетради четвертой



| Последняя тайна

Если всмотреться внимательно в сам акт смерти, обязательно увидишь в нем символ жизни. Потому-то рассказ о смерти всегда похож на притчу. С этой притчей не поспоришь. Урок ее не отвергнешь.

* * *

После похорон *й* доктор Сидерайте припомнит:

— Он унес с собой тайну смерти. Говорил мне: «Какие странные ощущения я сейчас испытываю! Если бы я мог это зафиксировать». Предлагала: «Диктуй, я запишу». — «Нет, это мог бы сделать только я сам!»

* * *

Есть они и в моих записях — эти последние открытия *й*.

— Сейчас для меня расширяется пространство. Лучше сказать: оно вдруг открывается — слева направо. Точно циферблат часов. Кажется иногда: я могу догадаться, как создан мир. Но пока это все еще тайна...

* * *

Большую часть своей дороги прошел *й* с томиком Ницше. Последние шаги — тоже.

«...В ночь перед смертью попросил меня почитать ему книгу «Так говорил Заратустра». Читала долго, очень долго. Он старался слушать внимательно. Потом вдруг:

— Сколько сейчас времени? Два часа? Иди, Шейнеле, ложись, тебе ведь рано вставать на работу.

Я не могла уснуть, чуть дремала. В четыре утра поднялась, проверила: спит, тяжело дышит. В половине восьмого снова открыла дверь в его комнату. Яши нет!

Но я не заметила: он сидел на диване, с палкой в руках. Уже синий, похолодевший. И не мог говорить. Тут же я позвонила Иосифу...»

* * *

Сознание еще вернется к *й*. Знаками покажет приехавшему сыну: ...в туалет. Потом сын уложит *й* на диван.

* * *

...Он лежит, иногда приоткрывая глаза. Может быть, сознание еще теплится в нем. С чем он прощается?

Со скульптурой Иисуса Христа на шкафу.

С двумя пишущими машинками.

С грудой исписанной им за полвека бумаги (в архиве).

С любимыми пластинками — Бетховен, Моцарт, Вивальди...

С трещиной на потолке.

С книгами, многие из которых так и остались неп прочитанными.

| В конце лабиринта

5 января 96 г. «Скоро закончится наш с вами эксперимент». *И* сказал это год тому назад. Сказал, как будто не понимая, что именно означают для него слова: КОНЕЦ ЭКСПЕРИМЕНТА.

* * *

Пять лет вместе с *И* мы шли дорогой его прощания с жизнью. Цель эксперимента определила структуру книги. Прощаясь с жизнью, человек плачет, смеется, жалеет о содеянном; быстро перелистывает одни страницы своего существования, надолго задерживается на других, иногда повторяет по несколько раз сказанное раньше.

Что ж, ничего не поделаешь: таков характер прощания.

* * *

Однако в книге, в сущности, уже поставлена точка. О чем же пишу теперь? *И* всегда хотел заглянуть — хоть чуть-чуть, ненадолго — за порог смерти. Нет, «тот свет» был ему неинтересен. Его любопытство распространялось на людей и события посюсторонние.

* * *

Понравились бы *И* его похороны? Не думаю, что вопрос кощунствен. Речь о человеке, продумывавшем все нюансы своего ухода... И так?..

* * *

В гробу он, как многие покойники, кажется маленьким. Ребенок, который нашел то, что так долго искал. Сибирские шаманы (в Туве, Горной Шории, Якутии) уверяли меня: дух мертвеца в течение года витает рядом с живыми. Что ж, может быть, в самом деле слышал *И* то, что говорили о нем. В. Свянтицкас (председатель Союза писателей Литвы), литературовед Д. Юделявичюс, кинорежиссер К. Матузявичюс,

член Сейма Э. Зингерис. Может быть, удивился: оказалось, одинокий путь его был различим для других.

* * *

«Он жил не по-еврейски. И умереть не смог, как еврей. Где видно — лежит еврей на христианском кладбище!»

Спасибо за этот голос! *Й* ждал его. Раньше в решении вопроса о том, где писателю быть похороненным, вмешивалась «комиссия», теперь — «общественность».

А он сказал летом дочери, приехавшей прощаться с ним:

— ...Все-таки пусть это будет кладбище на Антакальнисе! Там уже поселились многие мои друзья — литовские артисты, художники, литераторы...

* * *

Кстати, если говорить о мнении евреев. Слышал я и другой голос: — Все правильно! Ведь *Й*осаде сделал свой выбор гораздо раньше. Тогда, когда стал литовским писателем. Он, как всегда, логичен.

— А как думаете вы? — спрашивает у меня кто-то.

Думаю я о его свободе. Куда бы она ни вела. О том, что *Й* преодолел еще один страх — посмертного осуждения.

* * *

Вчера (10 декабря 95 г.) были на кладбище (доктор Сидерайте, Иосиф, его старшая дочь Саломея, доктор И. Вейсайте, мы с женой; Неля, жена Иосифа, их младшая дочь Эльжбета — больны).

Могила *Й* на самой вершине горы. Все замечено снегом. Ставим свечи, которые тут же — на ветру — гаснут. Одна свеча все же остается гореть. Смотрю на голубое свечение внутри пламени. Говорят, это символ «другой жизни».

* * *

Все обычно: кто-то уже забыл *Й*, а кто-то его и не знал, даже не слышал его имени. Но кто-то выстраивает теперь свои, новые, отношения с *Й*. Возник интерес к двум его последним книгам, которые доктор Сидерайте сейчас развозит, разносит, рассылает — по магазинам, библиотекам, за границу.

* * *

Й спрашивал у нее:

— А ты, Шейнеле, будешь писать обо мне воспоминания?

— Неизвестно, кто из нас умрет раньше.

Теперь я записываю рассказы доктора Сидерайте — так же, как когда-то рассказы *Й*.

История их отношений по напряженности коллизий похожа на роман. Роман этот — для какой-то другой книги, но все же намечу некоторые его линии.

* * *

В эти дни она говорит кому-то из сослуживцев, а потом с удивлением пересказывает мне:

— ...Сейчас мы с мужем духовно ближе, чем при его жизни. Он обычно повторял (иногда шутливо, порой серьезно): «Жена должна быть всегда занята, иначе ей лезут в голову идиотские мысли». Вот я и была занята. А сейчас, из вечера в вечер, разбираю его архив. То и дело муж открывает мне душу.

* * *

«В большой папке — его письма ко мне (первое — в роддом, когда появилась на свет Ася); записки (иногда буквально на обрывках бумаги), письма к сестре в Израиль — тоже обо мне...» (27 января 96 г.)

Многие его «эксперименты» касались прежде всего жены. Задавал неожиданные вопросы, создавал конфликтные ситуации, наблюдал,

«переделывал», ревновал, без предупреждения приезжал обычно в другой город, когда она была там на курсах повышения квалификации, «предъявлял претензии, которые ставили меня в тупик, фантазировал обо мне такое, что мне самой никогда не пришло бы в голову...».

Но она так и осталась для *й* загадкой.

* * *

Фотография из архива *й*. Доктор Сидерайте — в больнице. *й* хотел отправить снимок сестре, потом — раздумал. Его надпись на обороте:

«Вот она, моя верная попутчица, во всей своей докторской красе. Она это или нет? Я спрашиваю не тебя, дорогая Батшева, но себя — очень часто, почти ежедневно.

До сих пор не могу разобраться, где и когда у Шейнеле начинается доктор, когда и где в ней кончается жена и мать. Чего больше — первого, второго или третьего? Для тебя, Батшева, этот вопрос может звучать риторически. Все три явления, скажешь ты, не противоречат друг другу, наоборот, одно другое дополняет. Но так это, видимо, только теоретически. Если бы у тебя была возможность познакомиться с Шейнеле и наблюдать ее с близкого расстояния, если бы ты столкнулась с ней в каждодневной жизни, ты бы определенно спросила ее о том же. Одним словом, сколько бы ты ни старалась выпытывать что-то у Аси, Авигодора (брат доктора Сидерайте. — *Прим. Е.Ц.*), других наших общих знакомых, добываясь правды, тебе это не удастся. Никто не понимает тайну нашей совместной жизни. Даже мои дети. Дорогая сестра, прошло уже тридцать лет, и у меня подозрение: я сам ее не понимаю. Яков. 2 июня 1975».

* * *

й любил «открывать людей». Отчего же таким непонятным казался ему человек, который был рядом полвека?

* * *

Самые яркие воспоминания ее детства:

— ...Я стираю, стираю, стираю. Пеленки! В нашей семье — шестеро маленьких детей. О бедности не говорю. Восемь человек в двух маленьких комнатках. Учиться можем только двое — я и брат Авидор. Да и то с условием: учиться надо отлично, тогда родителей освободят от платы за гимназию. Мы зарабатываем сами, даем уроки; удивляюсь: я — еврейка — учу литовскому языку литовцев. Еще одно воспоминание: демисезонное пальто, на которое я, девочка-подросток, сумела собрать деньги...

* * *

— Когда мы поженились, Яше было тридцать четыре, мне — двадцать четыре. Он требует: стол должен быть тщательно сервирован, а на столе — накрахмаленная скатерть...

* * *

Уже не ранят его упреки:

— Почему ты мне мало улыбаешься? Телефонной трубке достается гораздо больше твоего тепла.

* * *

Уже не имеют значения ее признания:

«Он был единственным мужчиной в моей жизни. Я ему ни разу не изменила даже в мыслях».

«...Читала его вещи. И молчала. Не всегда нравились».

«Когда Асе исполнилось восемнадцать лет, она спросила меня:

— Почему ты не разойдешься с папой? Ведь вы все время говорите на разных языках.

Но я была счастлива. Человека любишь не за какие-то «качества». Без всякой причины. К тому же рядом с ним я всегда ощущала особое духовное поле. А за все в жизни надо платить».

«Иногда думаю: может быть, Ася — с ее интуицией — потому и не вышла замуж, что боялась повторения нашего с ее отцом брака? Знаете, эти опасения (если были они) не так уж беспочвенны. В своей врачебной практике я часто убеждалась: от родителей к детям переходят не только привычки, характеры, болезни — судьбы...»

«Но я-то была счастлива. Счастлива».

«Ах, как много я узнала о нем! Конечно, устала — не сплю, как правило, до середины ночи, читаю. Ну как оторваться? Все время кажется: сейчас он скажет главное! И еще чувствую свою вину — за то, что не расслышала это главное при его жизни».

* * *

В эти месяцы мы часто звоним друг другу. Я привычно жду фразы доктора Сидерайте:

— Расскажу о своих находках...

* * *

Из письма *й* бывшему директору еврейского музея в Вильнюсе Я. Гутковичу: «Я пишу по-литовски, но мое сердце кровоточит по-еврейски».

* * *

Иные из «находок» удивили бы... самого *й*. К примеру: в сороковые годы он все-таки сжег не все дневниковые записи — некоторые так и

лежат в архиве. Что же касается записей более поздних... Оказывается, *й* сам подметил главное противоречие в своей судьбе. То, о которое я запнулся, а потом пытался осмыслить.

Из его записок 1961 года:

«Когда я думаю о собственном жизненном пути, вижу: какое-то проклятие сопровождает каждый мой шаг. Но жаловаться было бы грех: вспоминая трагическую участь нашей семьи, я должен признать, что родился под счастливой звездой».

Ему была дана долгая жизнь, чтобы идти и идти лабиринтом.

| «Там и встретимся»

3 февраля 96 г. Все эти месяцы — с ноября — у меня нет ощущения, что *й* умер. Я правильно выразил свою мысль: нет ощущения, что *й* умер, хотя чувствую ложь, пробуя написать чуть иначе: *й* жив.

По сути я прощаюсь с *й* только сейчас.

Пересматриваю его последние фото, которые делал, стараясь не насторожить *й* («Вы давно уже никому не позировали». А он потом и не позировал — просто лежал, раскинув руки, на диване или стоял, думая о чем-то своем, возле шкафа с архивом). Снова прослушиваю кассеты с интервью.

Перечитываю свои дневники.

Беру с полки подаренные им книги.

* * *

«Милый Цейтлин... — он говорит это по телефону за полтора месяца до смерти. Вдруг останавливается: как ребенок, задумывается о смысле произнесенного слова. Повторяет: — Да, милый... Мой круг сужается. Вы — почти один».

То же самое он пишет на титульном листе сборника «Захлопнутые двери»:

«...Мне кажется, вы единственный знаете, сколько здоровья, нервов и того, что не выразишь словами, стоила мне эта книга. Не только знаете — вместе со мной пережили эту тяжелую канитель.

Теперь свершилось! Примите мою глубочайшую благодарность!

Ваш немножко (и, признаюсь, больше, чем немножко!) любящий — Йокубас Йосаде.

Вильнюс, 1994, 18 апреля».

Вспоминаю: та канитель действительно была «тяжелой» — продолжалась несколько лет. Связана была с серией обманов, разочарований *й* в некоторых людях. Что же касается благодарности... Нет, думаю сейчас, никак не могу принять то, что мне не принадлежит. Напротив — спасибо *й*! За его щедро доверенную мне исповедь, за право поставить в ней точку.

Надпись на книге «Прыжок в неизвестность» (5 мая 95 г.):

«...Точно не знаю, не могу понять, но может быть, что сейчас — самому близкому моему другу.

Ваш Йокубас Йосаде».

Как ни странно, мне особенно дорог здесь именно этот перебор, поиск единственного слова: «точно не знаю», «не могу понять», «может быть».

* * *

5 апреля 96 г. Однажды я спросил у него: верит ли он в другую, после смерти, жизнь? Ответил вроде бы простодушно:

— Еще не умирал. Не было такого опыта. — Помолчал. — Если есть другая жизнь, там и встретимся.

Потому и не знаю, как отнесся бы *й* к моему рассказу о сне (увидел его три дня назад).

Мы действительно встретились с ним «там». В «том», потустороннем, мире. Не могу припомнить — обстановку, одежду. Хорошо помню ощущение легкости. Стоим в нескольких шагах друг от друга. Молчим.

Мы просто смотрим друг другу в глаза. Неожиданно я чувствую: здесь другое измерение времени; чувствую: тают, растворяются вдруг, исчезают бесследно все пять лет теперешних наших встреч.

* * *

...Проснувшись, делаю над собой усилие: прежде всего надо припомнить сон. Все во мне — еще живущем — протестует против исчезновения памяти. Спешу найти в своих тетрадах записи последних бесед с *й*. Перечитываю. Понимаю вдруг: голос *й* обязательно должен прозвучать в конце этой книги!

| Вот и все

21 сентября 95 г. ...Опять разговор о творчестве. О том, что же это такое — счастливая жизнь в искусстве. Счастье каждый определяет, прислушавшись к себе. Потому *й* не сомневается:

— ...Счастье — сам процесс творчества. И больше ничего. Ровным счетом ничего.

Я долго не решаюсь задать бестактный вопрос, хотя знаю: он признает любые вопросы. Все-таки спрашиваю:

— Тогда что же это такое для писателя — счастливая смерть?

— Тут уж совсем просто! Нужно умереть вовремя! А жить — до тех пор, пока остаешься самим собой. Поэтому счастье — иметь силы уйти из жизни. Как Стефан Цвейг: он покончил с собой в разгар Второй мировой войны, почувствовав конец цивилизации. Или как Хемингуэй, который выстрелом в голову расплескал свои гениальные мозги — он

почувствовал конец собственного таланта. Увы, счастливая смерть мне недоступна...

* * *

Высказывания *Й* опять похожи на пророчества. Апокалиптические.

«Что творится в мире? Сизиф падает вниз. Я понял это, работая над последней пьесой. Все кончено. Ненависть победила. Цивилизация обанкротилась.

Любой день может оказаться последним для человечества. Ведь рядом с крупными городами — атомные станции. Во всех смыслах впереди у человечества — ничего, почти ничего. Я вижу это ясно. Вот и все».

* * *

Убит израильский премьер-министр И. Рабин. *Й* мог бы воскликнуть: «Вот видите! Я говорил!» Но у него нет амбиций пророка. Только горечь: «Все напрасно...» Что же это «все»? Опять: ни больше, ни меньше — путь человечества.

* * *

4 октября 95 г. Сначала я удивляюсь, потом привыкаю: к *Й* пришло смирение. Он терпеливо ждет развязки.

— Сегодня Йом Кипур. Судный день. Сегодня окончательно решена судьба каждого на этот год (по еврейскому календарю. — *Прим. Е.Ц.*). Вот и мне подписан приговор. Но он пока скрыт от меня — в плотном конверте. Что ж, скоро узнаю.

* * *

18 октября 95 г. Оптимизм временами возвращается к нему:

— Хочу сказать вам о своем восхищении Джорджем Соросом. Мне стало легче от того, что знаю: живет такой человек.

Через несколько дней звонит снова:

— Для меня Сорос — загадка. Я наблюдал за ним по телевизору. За тем, как он говорит. Как молчит. Как смеется. Совсем прост! Знаете, он

не похож на интеллигента. Не похож и на человека светского. Например, на высоком приеме он постоянно держит руку в кармане брюк. Но от него трудно отвести взгляд. В нем есть магнетизм. Он похож на героя моей пьесы «Прыжок в неизвестность». Творя реальное добро в таких огромных масштабах, великий филантроп Сорос помогает людям преодолевать агрессивность.

* * *

19 октября 95 г. Мы так много говорили с *й* о проблемах национальных. Теперь он молчит о них. Теперь он связывает будущее с «человеком без национального клейма».

* * *

...Вот она, последняя наша встреча.

й звонит вечером, просит срочно приехать. Переспрашиваю:

— А что если встретимся завтра? Идет сильный дождь.

— Я вас очень прошу. Завтра у меня может не хватить сил.

Цель встречи кажется ему чрезвычайно важной. *й* думает о моей книге. «Знаете, она будет неполной, если вы не прочтете других моих пьес — тех, что написал я прежде еврейского цикла...»

Важно. Это очень важно: я ведь могу не до конца понять его.

Потом, после нашего разговора, *й* хочет выпить кофе. Помогаю ему приподняться с постели. Медленно ставит ноги на пол. Вижу худые икры, распухшие синие ступни, которые еще привычно шаркают по ковру в поисках тапочек.

* * *

Когда-то мы с *й* по очереди напоминали друг другу строки Екклесиаста. Теперь, перед смертью, он торопится доверить мне свое последнее «верую»:

— Долгие годы человек ищет — любовь, призвание, удачу. Ищет, не понимая, что же это такое — любовь, призвание, удача. В конце

концов оказывается: дважды два — это четыре. В конце концов оказывается: нам нужно совсем немного. А иногда кажется: нужно ли что-то вообще?

* * *

«Мой дорогой, мне ничего не надо. Ничего... Знаете, отсутствие боли — это и есть счастье. Именно так: отсутствие боли.

Эт о т с у т с т в и е опьяняет тебя, и тогда наплывает дремота. Ты куда-то плывешь — все дальше и дальше. Что может быть лучше этого?

Все дальше и дальше...

Вот и все».

1990–1996 гг.

Международная пресса о книге

* * *

Убеждена: если бы состоялся суд над тоталитаризмом, книга Евсея Цейтлина могла бы выступить на нем важным свидетелем.

*Лиана Алавердова. Журнал «Знамя»,
Москва*

* * *

Можно открыть «Долгие беседы...» где угодно, можно читать, что называется, вдоль и поперек, можно перелистывать с начала или с конца — любой отрывок трогает, задевает те или иные струны души... Необыкновенная, великолепная книга, которая заслуживает большого уважения и восхищения...

*Barbara Piatti. «Der Kleine Bund», Берн,
Швейцария*

* * *

...Трагическая исповедь, записанная из уст человека, который ждет смерти как избавления от мук совести. Философский аспект этого репортажа о собственном умирании достоин отдельного разговора, в контекст которого надо будет включить толстовского Ивана Ильича, а также академика Павлова, Николая Островского и, пожалуй, того американского интеллектуала, который предложил всем желающим наблюдать его агонию по каналам интернета.

*Лев Аннинский, журнал «Дружба народов», Москва;
также в кн.: Лев Аннинский. «Русские плюс...»*

* * *

Более пяти лет Цейтлин общается с писателем, который именно в состоянии физического угасания приходит к внутренней свободе... Изощренная композиция книги помогает с разных сторон приблизиться к этому очень своеобразному характеру. Автор вглядывается в него с симпатией и уважением, но — одновременно — постоянно сохраняет дистанцию... Смелость и трусость, творческие озарения и неудачи отдельного человека высвечиваются на фоне страшной эпохи... Очень редкий в литературе случай: вездесущая сила террора и страха полностью вмещается в емкие, как бы сжимающиеся миниатюры этой книги...

*Karl-Markus Gauss. «Neue Zürcher Zeitung»,
Цюрих, Швейцария*

* * *

...Я открыл «Беседы...» Я до сих пор нахожусь в поле их притяжения, этакое странного, жутковатого магнетизма... Жанр не имеет значения, когда человек решает для себя главные проблемы бытия.

*Сигитас Геда. Из послесловия к первому изданию книги.
Вильнюс, 1996*

* * *

...С первой и до последней страницы читателя не оставляет дивное и страшное чувство прикосновения к чужой душе. ...Предельная откровенность книги задается ее жанром предсмертной исповеди. Мистический, интерактивный эффект создается темой смерти, от которой современная литература, да и весь мир, пытается сбежать.

*Марина Гордон. Вестник Еврейского агентства в России,
Москва*

* * *

...Книга, как с самого начала знал Цейтлин, должна быть не только о гибели еврейской культуры в СССР, арестах, расстрелах, предательстве и сожженных архивах: она о самоуничтожении таланта, о саморазрушении своего дара как способе выжить.

...Из разговоров, раздумий и случайно брошенных замечаний скомпоновано целое, столь искреннее и освещенное столь трагическим светом, что эту книгу можно было бы назвать романом, причем романом замечательным.

*Профессор Анатолий Либерман. «Новый журнал»,
Нью-Йорк*

* * *

Это его, автора, интеллект сопрягает все отрывочные, разнообразные мысли в цельное и гармоническое здание. Это его смелость, его талант, его умение выразить, кажется, невыразимое. Этой подлинностью «Долгие беседы...» и потрясают.

...Напряжение здесь не сюжетно-фабульное, а интеллектуальное... Важно и другое. Эта книга — еврейская по самой своей сути, так сказать, насквозь. Не потому, что такова тематика. Сама возможность таких бесед, их глубинное течение, кружение, своеобразная «герменевтика», все это уходит в глубину, к корням — к талмудическим спорам и обсуждениям, к возможности задавать другим и самому себе любые вопросы и высказывать любые сомнения. Книга потрясает своей необычностью, неординарностью именно потому, что в ней ярко проступает еврейское сознание и мироощущение. И философское отношение к смерти, спокойное ее ожидание — тоже особенность еврейского взгляда на мир.

*Валентина Брио. Альманах «Иерусалимский библиофил»,
Израиль*

* * *

Книга Евсея Цейтлина обнаруживает глубоко спрятанную от всех духовную жизнь Йосаде. «Я весь фиктивный», — признается он в начале их бесед. Йосаде рассказывает мучительную историю отказа от самого себя в атмосфере страха и предательства, которая существовала в Советском Союзе в последние годы правления Сталина. Тогда Йосаде перестал говорить по-еврейски даже со своей женой, сжег еврейские книги из своей библиотеки... Это, вероятно, спасло ему жизнь, но задушило его талант.

*Михаил Крутиков. Газета «Форвертс», на идиш,
Нью-Йорк*

* * *

...Странная, неожиданная, необычная по жанру и композиции книга. ...Цейтлин преднамеренно лишает Йокубаса Йосаде имени, обозначая его строчной литерой й, цитируя мимоходом Мандельштама: «Я буквой был» и как бы подчеркивая тем самым, что, при всей неповторимости биографического рисунка, судьба й — рядовая судьба еврейского гуманитария, вынужденного жить и творить в советском тоталитарном государстве.

*Лев Айзенштат. Народ Книги в мире книг.
Еврейское книжное обозрение,
С.-Петербург*

* * *

Уникальный феномен в литературе... Подлинное величие сочинения состоит в том, что оно переросло не только живого Йосаде, благополучно-советского автора, дерзнувшего на самоотчет миру, преодолевшего «страх посмертного осуждения». Как всякое настоящее изделие, книга превзошла замысел и физического автора — Евсея Цейтлина... По-моему, у Цейтлина получилась эпопея — история души

типичного советского человека, что созидал 70 лет величайшую державу мира XX века...

Мне неизвестно другое произведение, где с такой художественной силой, без всякой примеси абсолютно ненужного обличительства изображена самоубийственная тенденция, которая закономерно завершилась перестройкой — и гибелью СССР.

*Михаил Хейфец. Газета «Вести»,
Израиль*

* * *

Подобно К., герою романа Кафки «Замок», Йокубас Йосаде обозначается автором в тексте «Долгих бесед...», как правило, только одной литерой. Она сама по себе непроизносима — «й», она всегда маленькая, строчная, а не прописная. Это условие физического выживания героя, знак полного растворения его личности в тексте надчеловеческой, имперской истории.

...Книга Цейтлина... порождает смешанные и противоречивые чувства. Сам ее жанр — странная взрывчатая смесь «Разговоров Эккермана с Гете», сочинений Ницше («Так говорил Заратустра»), романов Кафки и диалогов хасидских цадиков — эклектичен, сомнителен, провокативен. Но это отнюдь не произвольный постмодернистский «микст». Жанр «Долгих бесед...» есть производное от судьбы и личности главного персонажа, и в каком-то смысле необычная форма книги Цейтлина является наиболее адекватным выражением сложной нравственно-этической и социальной ситуации в Литве (и шире — в Восточной Европе). Ситуации, до сих пор не преодоленной окончательно и способной быть источником новых конфликтов, новых человеческих трагедий.

*Виктор Кривулин.
«Новое литературное обозрение», Москва;
Газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung»,
Франкфурт-на-Майне, Германия*

* * *

...Героем книги вполне мог быть не еврейский писатель. И не писатель вообще. Героем мог быть человек любой национальности, любой профессии, любого возраста. Ведь автору, без сомнения, интересней всего реконструкция человеческого сознания «при свете смерти».

Альфонсас Буконтас.

Из послесловия к первому изданию книги.

Вильнюс, 1996

* * *

Он живет как сейсмограф, фиксируя движения Системы, врагом которой является. И жаждет землетрясения, трещин, которые — одновременно — подорвут его жизнь.

Moritz Schuller. Газета «Der Tagesspiegel»,

Берлин

* * *

Замечательна композиция книги. Автор скромно определяет её как «дневник без дат». А мне кажется, что перед читателем скорее предстаёт удивительная поэма, верлибр. Я бы сравнил «Долгие беседы...» с полифоническим музыкальным произведением. Даже и читал книгу, слушая бетховенский 15-й квартет (*a-moll*). В своих поздних квартетах Бетховен применял совершенно новый метод письма, экспериментируя с инструментальными партиями в партитуре. В целом ощущается отстранённая полилинейность, что-то мистическое. И вместе с тем бесконечно трагическое, эмоциональное (в финале 15-го есть место, в котором моё сердце просто улетает). И сочинялось ведь тоже под тенью смерти. И в «Беседах» есть несколько линий: жизнь/смерть, добро/зло, совесть/раскаяние, индивидуализм/близкие люди, страх/его преодоление, еврейское/не еврейское, монологи *й*/ тонкие комментарии-размышления Цейтлина... Линии эти сочетаются контрапунктически, переплетаются, возобновляются, образуя великолепные каноны. Про-

ставленные время от времени даты напоминают читателю, что перед ним развёртывается реальная жизнь реального человека... Перед нами уникальное исследование человеческой природы, её универсальных черт... Можно только догадываться, какую психологическую ношу принял на себя Евсей Цейтлин, какую эмоциональную цену он заплатил... Я возвращаюсь к тому, с чего начал эти заметки: книга Евсея Цейтлина *уникальна*.

Борис Кушнер.

Журнал «Время и место», Нью-Йорк.

Опубликовано также: Интернет-журнал «7 искусств».

* * *

Евсей Цейтлин написал прекрасную книгу. Он безошибочно выбрал нужного героя (а герой выбрал его), сумел из груды материала вытащить на поверхность самое работающее, самое важное и характерное. Отыскал самый верный — дневниковый — способ подачи материала. Его замечания и комментарии лаконичны и умны. И наконец, самое главное — видно, что он сроднился со своим героем, вошел в его жизнь, стал своим в его семье. Автор своего героя полюбил. Сам Евсей пишет, что хотел быть для него «зеркалом». Я бы сказала несколько иначе: автор книги и ее герой смотрятся друг в друга, как в зеркало.

Ирина Чайковская.

Журнал «Нева», С.-Петербург

* * *

Я написала — «...в ожидании счастливой жизни», и поняла, что ошиблась, быстро исправила и мысленно вернулась к своей ошибке. Нет, это не было опiskой. Это — моё восприятие «Долгих бесед...», которые показались мне лаконичными, ёмкими, пронзительными суждениями о жизни.

Берта Фраш.

Журнал «Литературный европеец», Германия

* * *

Перелистывая книгу Цейтлина, я снова вспоминаю мудрую и печальную мысль А.А. Ухтомского:

«Каждый из нас — только всплеск волны в великом океане, несущем воды из великого прошлого в великое будущее».

Но каждый всплеск — особенный, неповторимый; каждый пребывает в плену своих доминант, отличается лица не общим выраженьем. Все дело в том, чтобы разглядеть ЛИЦО в любом человеке, даже если его имя пишется со строчной буквы.

Как это удалось Евсею Цейтлину.

*Семен Резник. Международная еврейская газета,
Москва; Интернет-журнал «Семь искусств»*

* * *

Евсей Цейтлин сделал книгу о саморазрушении дара, который в тоталитарном обществе опасен для самого творца.

*Владимир Порудоминский. Журнал «Вильнюс»,
Литва*

* * *

В своей сложной роли то ли младшего друга, то ли исповедника он (автор) проявил себя человеком глубоким, чутким и в высшей степени деликатным. В результате возникла эта необычная книга, неожиданно увлекательная, начав читать которую вы уже не сможете от нее оторваться.

*Белла Залеская. «Литературные вести»,
Москва*

* * *

...Это — роман, психологическая, исповедальная проза, раздумья о человеческой жизни, особенно важные и поучительные, когда жизнь на исходе...

*Семен Ицкович. Журнал «Вестник»,
США*

* * *

Всё-таки добралась Ваша замечательная книжка до меня. Всё же долетела и очень меня обрадовала. И это большая заслуга Ваша и й. Очень важно, что еврейские реалии впаяны и растворены в «советскости». А еще и Литва с этой жутко потаенной актуальностью, которая вдруг всплыла в наши дни. Все это придает документу и исповеди подлинно трагический масштаб. Там почти каждый из нас виден, в той или иной степени.

(Из письма автору Евгения Юрьевича Сидорова, экс-министра культуры РФ, Первого секретаря Союза писателей Москвы)

* * *

Книга «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» Евсея Цейтлина обладает очень мощной психотерапевтической силой для любого прочитавшего ее человека. Сами беседы — это жанр, во многом сходный с психотерапевтическими сессиями, в которых один человек берет на себя смелость слушать и задавать вопросы, а другой — смелость обнажать свою душу. Это всегда шаг в неизвестность, полный неожиданности и непредсказуемости. Тем не менее «Беседы», как и терапевтический процесс, развиваются по определенным правилам, имеют свою начальную стадию, развитие и момент достижения результата. В данном случае результатом является смерть.

*Вадим Дехтярь, психотерапевт,
Президент Academy NLP*

ОБ АВТОРЕ

Евсей Цейтлин (Yevsey Tseytlin) — эссеист, прозаик, культуролог, литературовед, критик, редактор. Родился в Омске в 1948 г. Окончил факультет журналистики Уральского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю литературы и культуры.

Автор литературно-критических статей и эссе, монографий, рассказов и повестей о людях искусства.

Основные работы Евсея Цейтлина собраны в его книгах: «Одинокие среди идущих» (С.-Петербург: Алетейя, 2013), «Снег в субботу» (Таганрог: Ньюанс, 2012), «Послевкусие сна» (Чикаго: Insignificant Books, 2012), «Шаги спящих» (Franc-Tireur USA, 2011), «Несколько минут после. Книга встреч» (Franc-Tireur USA, 2011; С.-Петербург: Алетейя, 2012), «Откуда и куда» (Franc-Tireur USA, 2010), «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» (Вильнюс, 1996; М.-Иерусалим: Даат/Знание, 2001; Franc-Tireur USA, 2009, 2010; С.-Петербург: Алетейя, 2012; Чикаго: Bagriy & Company, 2017; на литовском — Vilnius: Vaga, 1997; на немецком — Berlin: Rowohlt, 2000; на украинском — Киев: Каяла, 2017; на испанском — Чикаго: Bagriy & Company, 2018; на английском — Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 2018), «Писатель в провинции» (М.: Советский писатель, 1990), «Голос и эхо» (Калининград, 1989), «Вехи памяти» (М.: Книга, 1987; совместно с Львом Аннинским), «На пути к человеку» (Кемерово, 1986), «О том, что остается» (Иркутск, 1985), «Долгое эхо» (Калининград, 1985; на литовском — Vilnius: Vyturys, 1989), «Свет не гаснет» (Кемерово, 1984), «Жить и верить...» (Кемерово, 1983), «Всеволод Иванов» (Новоси-

бирск, 1983), «Сколько дорог у “Бронепоезда № 14-69”» (М.: Книга, 1982), «Так что же завтра?..» (Кемерово, 1982), «Всегда и сегодня...» (Кемерово, 1980), «Беседы в дороге» (Новосибирск, 1977).

Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей. Начиная с 1968 г. публикуется во многих литературно-художественных журналах и сборниках.

Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). С 1996 г. живет в США, редактирует чикагский ежемесячник «Шалом».

Был членом Союза писателей СССР (1978), является членом Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, членом международного Пен-клуба («Writers in Exile»).

Подробнее о творчестве Евсея Цейтлина см. на сайте: <http://www.yevsey-tseytlin.com/>

16+

Цейтлин Евсей Львович
Долгие беседы в ожидании
счастливой смерти
Из дневников этих лет

Ответственный редактор *М. Басовская*
Выпускающий редактор *Г. Логвинова*
Технический редактор *Т. Ткачук*
Верстка: *М. Курузьян*

Формат 70х90/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ №

ООО «Феникс»
344011, Россия, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 150.
Тел./факс: (863) 261-89-50, 261-89-59

Изготовлено в России
Дата изготовления: 07.2019.